

ВРЕМЯ И МЫ 31 1978

**В ЭТОМ НОМЕРЕ: ВОСПИТАНИЕ ЛЕВЫ
НАВРОЗОВА ● ДРУЗЬЯ И ИНТЕРЕСЫ
ИЗРАИЛЯ ● НЕСГОВОРЩИК С АНТИ-
КУЛЬТУРОЙ ● ПОЭЗИЯ И. ГАРИКА**

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
Феерический мир Иры Райхваргер



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

31
1978 ИЮЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	МИХАИЛ ЛЕДЕР
ЕГОША А. ГИЛЬБОА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ЙОСЕФ ТЕКОА
МИХАИЛ КАЛИК	ДОРА ШТУРМАН
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	ААРОН ЯРИВ

Зав.редакцией Марина ГОЛУБЕВА

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Логар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge. Conn. 06525 t. (203) 387-05-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

И. ВАРЛАМОВА

Мнимая жизнь 5
Лев НАВРОЗОВ
Воспитание Левы Наврозова 78

ПОЭЗИЯ

Лия ВЛАДИМИРОВА

Будто на пороге перемен 98
И. ГАРИК
Не бойся, не надейся, не проси 108

ПУБЛИЦИСТИКА

Нафтали ПРАТ

Если только за себя 116

ПИСАТЕЛЬ И МИР

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

На аврале 129
Владимир ВИШНЯК
Несговорщик с антикультурой 148

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Лев ЛАРСКИЙ

"Здравствуй, страна героев!" 168

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Феерический мир Иры Райхваргер 208

Коротко об авторах 219

"...Это лживость особая, самим человеком почти неосознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких "лгунов" в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа".

И. Бунин "Окаянные дни".

И. ВАРЛАМОВА

МНИМАЯ ЖИЗНЬ

ГОЛГОФА

Шагом быстрым, решительным, можно даже сказать — спортивным, шла Нора вдоль госпитальной ограды. Так же быстро, несмотря на свой возраст, и, пожалуй, еще спортивнее шагал рядом с ней ее муж.

Вспоминая потом, как они поднимались на эту Голгофу, она признавала себя, прежнюю, женщиной интересной и совсем еще молодой. Ей не совестно было так про самое себя думать, потому что это как бы была не она, а существо ей, нынешней, вовсе чуждое, доисторическое. Несмотря на все пережитое, Нора могла отстраненно понять даже то, почему в такие значительные, пограничные в жизни минуты ее занимало, как она выглядит. (Не затем ли и шла так легко и спортивно?) Это было последнее, что ее связывало с прошлым земным миром, с его сладостной суетой, и трудно было от него отрываться, холодно становилось при мысли о надвигающемся аристократизме болезни. Именно аристократизм этой бо-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

 "Время и Мы"

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

лезни пугал ее больше всего. Пока ничего еще толком о ней не зная, Нора пуще телесных мук боялась и ее кастовой замкнутости, и высокомерия одинокого духа, отрешенного от всего плотского, долънего.

Ограда была не особенно длинной и все же довольно длинной, чтобы в какой-то момент, на бегу, на лету жизнь Норы успела переломиться. Боковым зрением она сразу увидела там, за оградой, гуляющих парами или по трое женщин — были там и мужчины, но те почему-то не так ее ужаснули, да и женщины ужаснули не тотчас, а лишь тогда, когда она себе это позволила, обозначив свое впечатление словом.

Вот только что Нора шла, подчеркнута молодецки помахивая рукой, — как, бывало, шагала на демонстрациях, наслаждаясь состоянием эйфории, которое так любила в себе еще с отрочества, — состоянием рабы, лишь тогда счастливой по-настоящему, когда ее преданность, перейдя за грань простой искренности, превращается в чувство почти мистическое.

Как вдруг слово, красным сигналом тревоги вспыхнувшее в мозгу, заставило Нору споткнуться. "Лепрозорий", — вслух сказала она, искоса посмотрев на Илью, но тот, как и следовало ожидать, сделал вид, что не слышит. Обуявшая ее тоска, нерассуждающая, животная, была чувством настолько низким, настолько позорным, что прямо ее обнаружить она бы сочла для себя бесчестьем. Ну, а уж он бы воспринял это едва ли не как политический выпад.

Перенос обычных, некогда всем понятных и в общем простительных чувств в надличную или, скорее, внеличную плоскость совершается словно бы сам собой, бессознательно, по привычке. Чувства, расцениваемые большинством как постыдные, запросто переходят в свою противоположность, и подобная их переплавка давно уже стала для Норы самым будничным делом, не лишенным даже известной приятности. Сколько раз так бывало — душит тоска, но не дай ей себя одолеть, перекарась ее в радость. Страшно, а ты свой страх побори. Унизили, — но ведь унижение — паче гордости... И Нора умела заставить себя испытывать гордость и в унижении.

Усилием воли она погасила красный сигнал.

Больные гуляли там за оградой, болтали, смеялись, словно даже они, в своем лепрозории, не имели права печалиться. Слово бы перед ними ни разу не загорался сигнал тревоги, а вечно маячил некий успокоительный лозунг: "У нас не умирают!", к примеру. Или: "Смерть, go home!"

Несмотря на июльский зной, женщины были одеты в байковые халаты, все в одинаковые, красные маки по синему фону, и это, по-видимому, в чьих-то глазах выглядело большим достижением. Не серые и застиранные, а синие с красным, в цветочках, веселенькие, служащие той же цели — повышению тонуса, и потому казавшиеся Норе особенно удручающими. Но она не додумала этого — прочь малодушие! — и улыбнулась мужу. Он ей ответил улыбкой, подхватил ее под руку и так, бодро шагая в ногу, они миновали больничную проходную.

КОНЦЫ И НАЧАЛА

Лишь улегшись на отведенной ей симпатичной коечке у окна, провалившись в уютную впадину сетки, растянувшейся, как хорошо послуживший гамак, прикрыв горячие плечи сырой простынею с ляписным штампом, она, наконец, успокоилась. Муж, помахав на прощанье рукой, ушел, прошлое кануло в бездну, она в этой новой жизни осталась одна, и вот нашлась ей ячейка, у любого была здесь своя ячейка, а ей досталась еще не самая худшая, рядом с открытой оконной створкой, правда, с видом на морг, но лоб оведало ветром — жарким, июльским, и все-таки хоть какой-то слабый ток воздуха, — дали кефиру, рисовой каши, в которой, напоказ выставляя честность раздатчицы, в специально сделанном углублении золотисто блестяла лужица жидкого масла, — лежи теперь, знай, да полеживай, хочешь спи, хочешь думай.

Неужели это было вчера?.. У края деревни, за колхозной конюшней, где, как слышно было, всхрапывали порой усталые лошади, был затишек, и у Норы над головой серой мохнатой тучкой толклись комары. С вечернего, бледного, с про-

зеленю и вроде тоже усталого неба уже успели стечь краски и сгуститься по окоему, над лесом, к вечеру потемневшим до черноты и пьющим, словно бы слизывающим острыми верхушками елей эти зоревые подтеки. Нора стояла, смотрела на жухлое клеверище, не двигаясь, утопая чуть ли не до щиколотки в теплой пыли. "Прощай, небо, прощай, все", — думала она. Потом опустилась на разлатые белесые лопухи — сидела, не плакала, что-то больно кололо ладонь, вдавливалось в мякоть — острая щепка или стекло. Ну и пускай. Теперь ничто не имело значения.

Так представлялось ей только вчера. Но, оказывается, не имел значения лишь некий срединный отрезок существования. Откуда ей было знать, что после долгого-долгого перерыва вновь начнется, вернее, продолжится, быть может, очень уже короткая, но все же единственно подлинная ее жизнь, каким-то чудным, неисповедимым путем воссоединившись с тем незапятнанным временем, когда Нора была собой, — совсем еще дурочкой, "порох-девкой", как говорила няня Анисья, зазнайкой, смехотворно обидчивой и драчливой, фантазеркой неимоверной, но если б пришлось отвечать на анкету Маркса, самым ценным человеческим качеством она бы тогда назвала справедливость. За нее-то всегда и дралась, а обижалась — до громкого рева — на одну лишь несправедливость.

Удивительно, как сошлись все концы и начала.

АНТОН

Два дня назад Антон сломал руку, упав с лошади, — наверно, как раз где-то там, у конюшни. Мальчишки-дачники повадились бегать к старому конюху, слушать его рассказы, печь с ним картошку. Сын, хотя был еще мал, частенько увязывался за ними. Говорят, ребята посадили его на коня, он сидел, гордился, крепко цеплялся, однако, за холку, конь стоял неподвижно, как вкопанный, только отмахивался хвостом от слепней. Потом дружки разбежались — кто в ко-

нюшню, кто подкинуть щепок в костер, — Антон в одиночестве заскучал и, вытянув вниз руки, стал потихоньку сползать. Падать было невысоко, но кость хрустнула. Антон полежал, прислушался — что-то с ним приключилось, что-то внутри у него нарушилось — он это понял. Однако, ребятам сказать постеснялся, а встал и боком-боком, незаметно для всех ушел. Только у самой дачи он зарыдал в голос. Не от боли — от страха, что заругают. И предстал перед Норой в слезах, с черными, размазанными щеками. Ильи не было, он еще утром неожиданно отправился в город.

Все раскудахтались над ребенком — и Нора, и тетя Домна, и Тэта, — рука у него покраснела и вспухла, была горячей наощупь, надо было ехать в Москву, и Нора с Антоном, быстро собравшись, помчалась к автобусу. В поликлинику они поспели как раз к закрытию. "А врачи что — не люди? — бросила ей на бегу сестра. (Нора неслась за ней вдогонку по коридору.) — Мы тоже спешим домой! У вас дети, а у нас, по-вашему, собачата?" Нора едва умолила принять, и оказалось, что перелом, слава Богу, хоть без смещения. Наложили Антону гипс, и усталые ввалились они под вечер к себе в квартиру.

КТО ВИНОВАТ?

Илья потом говорил (и Нора ему поверила), что, махнув утром с дачи, он ничего такого в уме не держал. "Сорвало с места и все, как ветром сдуло". Ну что ж, бывает, кому-кому, а ей это понятно. "Приехал и вдруг, среди бела дня, брякнулся спать". Конечно, в пустой прохладной квартире даже спать приятнее, чем на даче, на хозяйском продавленном ложе, с постоянно и неумолчно, как телеграфные провода, зудящим где-то над ухом осиным гнездом, с разбегающимися, стоит лишь приподнять ведро с пола, мерзкими насекомыми, которых дети прозвали двухвостками...

Да и вообще на даче все уже стало противно, все надоело — и самый уклад жизни с ежедневным, обязательным или,

точнее сказать, обязательно-добровольным, словно субботник, собираюшем грибов, тасканьем воды из ручья, с чадом от керосинки, с висящей по стенам отсыревающей за ночь одеждой, с толчеей на веранде и в крохотной, заставленной раскладушками и чемоданами комнате, с невозможностью уединения, а главное — с вечными ссорами ("Ты так изменилась", — заметил Илья, и верно, она почему-то скисла в последнее время — куда подевалась ее жизнерадостная покорность? Он прав). "А потом позвонила Настя, сказала, что здесь проездом, всего три часа в Москве, давай повидаемся, ну и... Сам не знаю, как получилось, однако, я ни о чем не жалею, это ты виновата, ты, а не я, поломала все..."

ДРУГАЯ

Но это он говорил потом, уже ночью. А пока разыгрался фарс. Истинный фарс.

Ручка двери в заднюю комнату под нажимом ее ладони дошла до упора, но дверь не открылась, и Нора тупо уставилась в неподвижное полотно.

— Странно, зачем-то запер на ключ... Вот что: я побежала за хлебом, а ты сиди и, если папа будет звонить... — Нора прислушалась. — Э, да там кто-то есть... Илья, ты не спишь? Это мы, — и она постучала.

Молчание. Тишина. Но не такая тишина, а какая-то напряженная.

— Антон, неси ключ, запасной, он должен быть в ящике, там, где вилки и ложки, на кухне, быстро!

Антон побежал, и тотчас раздался скрежет замка, дверь распахнулась, на пороге стоял Илья, без очков, с отчаянно злыми и вместе растерянными глазами.

— Ты спал?

— Да... Нет. Уведи ребенка. Сюда нельзя.

Одним плечом упираясь в косяк, другим — в полотно отворенной двери, он всем телом загораживал вход в комнату. "Как при обыске", — подумала Нора и пожалела его.

— Пап, а пап! — торжествующе заорал влетевший из кухни Антон. — А я руку сломал — во!

Дверь захлопнулась, яростно твякнул замок, раз и еще раз, и опять перед Норой невинная ровная белизна.

Она опустила на стул, посидела. В груди стучал метроном, в ушах — вата, как после взрыва. "Вот это история, — думала Нора. — Что же мне делать? Другая уж точно знала бы, как поступить". Но она никогда не умела так обходиться с людьми, как та символическая "другая", которую Нора неизменно ставила себе в пример. "Другая", конечно, была блондинкой, носила юнгштурмовку, прыгала с парашютом, из учебной винтовки сажала в десятку без промаха, не боялась выступать на собраниях, всем говорила "ты", могла "смерить взглядом", "окатить холодным презрением", кому угодно "расхохотаться в лицо". Нет, Нора на это была органически не способна... Ах, да. Он ведь что-то сказал. "Уведи ребенка". Правильно. Увести.

— Антон, пошли.

— Куда-а?

— Не знаю... За хлебом.

— И нет, и нет, я еще папе не рассказал, я хочу папе...

— Без разговоров! Ну?

— Ма-ам! — в голосе слезы.

— Оставь, — Илья вышел к ним. — Как это его угораздило? И правда, что ли, руку сломал?

— Ага, ага, я с лошади сверзился, я...

Нора уже не слушала. Кто там, за дверью? Как ни смешно, у нее не было никаких, даже самых отдаленных предположений. Но имеет же она право хотя бы узнать? Нора встала. И впервые в жизни сделала так, как блондинка в юнгштурмовке. Насквозь прошитая взглядом Ильи, нет, пулеметной очередью уничтожающих взглядов, вся в дырах навывлет, Нора вошла в спальню.

Быстро скосила глаза вправо, — там на тахте скромно натянута плед, затем влево, на стол — тут машинка, груды бумаг и книг и среди всего этого, по-студенчески, на газетке, — чайник, масленка, сахарница, батон ("чаек попивали" — по-

думала Нора, и мелкая эта подробность, как часто бывает, отдалась в ней особенно резкой болью), но все же она усмехнулась — так мгновенно-летуче, что внутренняя усмешка не успела коснуться ни губ, ни глаз, уже неотрывно вперенных в женщину. Та сидела на стуле, ничуть не раздавленная, скорее — воинственная (может быть, от испуга), руки сложены на коленях, большие грубые руки. Это была Настя. "Настя!" — с облегчением подумала Нора и тотчас ожесточилась. Настя. Вот скотство. Но нет, именно с Настей не было скотства. С ней — нет.

Когда-то Нора прочла у Блока, совсем еще юного, что главным своим пороком он признает нерешительность. На что велик человек, а вот же и он... Разве этим только и утешаться. Теперь уже не блондинка в юнгштурмовке, а разум, простой здравый смысл подсказывал ей, что надо уйти. Немедленно. И исчезнуть. Неважно куда. Уехать в другой город. Спрятаться у подруги. Не подавать признаков жизни. Долго. Несколько месяцев. Пусть он поищет ее. И будет она королева. Ей, не ему, тогда диктовать, жить ли им дальше вместе и, главное, как жить. Очень достойный выход.

Но она никогда не была королевой и, видно, уже не будет. Стоит перед Настей, как столб, не зная, что говорить... А впрочем, "железная комендантша" тоже не то, чтобы чувствовала себя на коне. "Присаживайтесь", — ни с того ни с сего пробормотала она. "Вот как? — скрипуче воскликнула Нора, с отворачиванием слыша свой голос. — Вы меня приглашаете сесть, в моем доме?" ("Ужас", — подумала она мимолетно — все мысли вспыхивали и гасли в ее помраченном сознании, подобно зарницам.)

Тут она повернулась и вышла. Спасибо, что хоть на это хватило ума — ни слова больше не вымолвить и уйти.

— Пошли, сынок, — хрипло сказала Нора.

И что-то вдруг понял ребенок. Молча поднялся, взял ее за руку и по дороге не спрашивал ни о чем.

Когда они возвратились, Насти уже не было.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Илья взял Антона к себе, а Нора легла в проходной комнате на короткой детской кушетке. Глаза ее были сухи, бессонно, режуще сухо смотрели они в темноту. Душа расплзлась, как пыльная ветошь. Иной раз задержится Нора на давнем воспоминании, но тут же все и порвется с унылым потрескиванием...

Как идут они, например, по деревянному мосту — жара, мягко стучат высокие каблочки лакированных туфель, тайно от старшей сестры, их владелицы, ею надетых, на Илье рубашка с расстегнутым воротом, на ней темно-синее платье в точечку, выбитую в виде ковшей Медведицы, — "О, вы совсем как звездное небо", — но это брошено так, вскользь, больше ради красного словца, чем из галантности, и скорей к интересующей его теме: "Троцкизм — не политическое направление — это душевный строй, это характер", — и вдруг, себя перебив: "Вы способны бежать?" — "Конечно!" — и вот припустились по мосту, затем по откосу к дебаркадеру, от которого через минуту отчалит речной трамвай — еле успели вскочить, и, опершись на перильца, блестя очками: "Вы девушка моей мечты", — говорит, улыбаясь, Илья. — "Почему?" — "А даже ведь не спросили — куда бежать и зачем? Я вас всю жизнь искал..."

Или как едут в розвальнях, ночь, снега, впереди едва слышимо бренчит колокольчик, ей тепло, угрелась в тулупе, живота не чувствует, или, вернее, ей так уютно с этим огромным тугим животом, беременным жизнью, а рядом Илья, тоже в тулупе, стоит к ней спиной на коленях, правит лохматой, в сосульках лошадь, и вдруг на раскате розвальни накренились, и Нора вываливается в сугроб и пока поднимается, не уключая, с животом и в тяжелом тулупе, лошади уже не видеть, только слышен вдали скрип полозьев, а ей и не страшно, идет по полю одна, падает и смеется, встает и снова идет, и мир такой дружественный вокруг — откуда в ней это спокойствие, на краю земли, где ближе, чем в сорока километрах, ни

души, ни жилья, ни дымка, ни собачьего бреха?.. А потому, что знает, — у нее есть Илья, он спохватится, испугается, особенно дорог и мил ей этот испуг, это "ох!", когда, обернувшись, ее не увидит, он вернется, и вот уже возвращается (как жаль, что так быстро), и слышно, как хекает у коня селезенка, звенит колокольчик, и крик: "Нора! Нора, черт побери!" — и вот, швырнув вожжи, соскакивает, бежит, спотыкаясь, навстречу, обнимает, отталкивает, бранится: "Бестолочь, ну что ты за бестолочь! Жива? Не ушиблась?"

О Господи... Куда же все подевалось? Откуда взялось это нынешнее? Не только ведь он ее, но и она уже часто не в силах его ни понять, ни принять. Заговорят ли о родственниках, уж он не преминет сказать про мужа ее сестры: "профессор в фетровых ботиках", а про свою же покойную мать: "эта поповская дочка", да о чем бы у них ни зашла речь — о судьбе Пастернака или о модной сейчас кукурузе — все не то, все враждебно, и кровь стучит в висках и в ушах, Нора близка к обмороку, а он носится, хлопая дверью, из комнаты в комнату или усядется перед Норой и, издевательски улыбаясь, покачивает ногой. Давно уже ясно обоим: надо расстаться, а что-то все-таки держит, что-то нерасторжимое...

Наконец она все же уснула, и вдруг его шепот, он сидит на полу у кушетки, гладит ей руку: "Норушка, дуся моя, что мы делаем с нашей жизнью?.." И — слезы, он легок на слезы, у него "слезный дар", плачут оба и обнимаются жарко, неловко, стучаясь лбами, локтями, она пытается усадить его на кушетку, тянет его, он противится, тогда она тоже сползает на пол, — смешная сцена, сидят двое взрослых людей на полу, в белье, оба рыдают — в окно заглядывает луна.

ЕСЛИ ИДТИ, ТАК ИДТИ

Нора умеет прощать — ну, не совсем, но знает, что надо уметь, и уж если прощать, то чтобы не поминать никогда, ни полсловом (это самое трудное), и она старается изо всех сил. Наутро — ни одного вопроса про Настю, словно и не было ничего, так, дурной сон.

Илья нежен, но не спокойно нежен, а как-то взвинченно, воспаленно. Она, впрочем, знает, что воспаленность эта не показная, а искренняя, как и ночные слезы. Он любит в себе эти благородные всплески, любит себя в этих всплесках, да и впрямь немало хорошего сделал он разным людям в такие минуты и, с удовольствием вспоминая, часто рассказывая об этом, он легко возвращается в прежнее состояние души, и спустя много лет, переживая все заново, добрея и умиляясь.

Но знает Нора и то, что чем выше пик подобного всплеска, тем глубже он вскоре раскается в нем, тем горше ей будет расплата. Поэтому, хоть она и простила его, но держится скованно, настоюще.

Спасает Антон, который не понял сути вчерашнего происшествия, уловил лишь, что мама расстроилась, и рад мирному утру. Он то и дело заглядывает обоим в глаза, невинно шалит, слегка привередничает: "Фу, пенка!", уверенный, что сегодня это сойдет, и отвлекая (быть может, даже сознательно) внимание родителей на себя.

— Едем на дачу? — спросила Нора.

— Знаешь, — закуривая, ответил Илья, — раз уж мы в городе, зайдем в поликлинику по поводу твоей шишки.

— Ка-кой шиш-ки? Ну, папа, чудак! Это не шишка, а называется пе-ре-лом!

— Я про маму, — сказал Илья. — Не думай, что ты пуп земли.

Нора молчала. Ей не понравилось, как он сказал про "пуп", больно было смотреть на вытянувшуюся рожицу сына — грубо, неблагодарно, ведь так старался для них ребенок, — и не хотелось идти в поликлинику. Не стоило бы идти туда в таком душевном раздражье, но и спорить сегодня было нельзя.

"Шишкой" они прозвали обнаруженное ею на днях затвердение в правой груди. "Глянь, — сказала она Илье, вдруг заметив какое-то странное затверждение, — что это у меня?" Илья пощупал: "Правда... А ну-ка в другой". В другой ничего не было. "Рак", — сказала Нора и улыбнулась. Ни на секунду она не поверила в то, что это может быть рак, потому что единственный рак, который ей встретился в жизни до этого

дня, был рак носовой полости у соседской старухи, и старуха, не унимаясь, вопила от боли, и от нее дурно пахло... Рак — это было нечто такое уж страшное, некрасивое, чуть ли не стыдное, чего ни в коем случае не могло бы стрястись с ней. А тут просто чистенький бугорок под гладкой здоровой кожей, ни капельки не болезненный, и Нора произнесла это слово едва ли не из кокетства.

Днем она беспечно забывала о "шишке", но вечером, раздеваясь, трогала и каждый раз изумлялась, что "шишка" на месте. Илья однажды ночью сказал: "Приедем в Москву — покажешься. С этим не шутят". — "А они возьмут и отрежут, — шепнула Нора. — И ты разлюбишь меня". Она продолжала в это играть, как в детстве играла, представляя себе кошмары и наслаждаясь ими в постели под одеялом. Илья подумал немного, будто примериваясь, и ответил очень серьезно: "Нет, я даже сильнее тебя полюблю. Ты станешь, как амазонка, а мне с самой юности, с моей комсомольской юности, больше всего на свете нравятся амазонки!"

Амазонка, скачущая на лошади и стреляющая из лука, это, конечно, эффектно. Илья — мастак на подобные фразы. И все-таки лучше бы не сегодня. Сегодня она не готова.

— Ну, что ж, — сказала Нора, вздохнув. — Если идти, так идти.

КИТАЙСКАЯ ПЫТКА

Позади, в коридоре, остались Илья с Антоном (был момент, когда показалось, что между ними и ею рвется какая-то нить), а она вошла в кабинет, вся красная, с двояким чувством стыда — вдруг это все пустяки, и — "что вы мне, милочка, морочите голову!" — насмешливо скажет доктор, но не менее стыдно будет, если все же окажется рак. И для нее, и для доктора наступит тогда минута тяжелой неловкости: он, пряча взгляд, примется бодро болтать, а Нора, будто ничего не заметив, станет разыгрывать перед ним идиотское недомыслие.

— На что жалуетесь? — наконец спросил врач, оторвавшись от своей писанины и сощуренно посмотрев ей в лицо. — Садитесь, слушаю вас.

Громоздкий, тучный, со странным черепом яйцевидной формы и без единого волоска, похожий на пожилого меланхоличного турка, он откинулся к спинке кресла, все еще держа авторучку в пухлой белой руке.

— Да вот... — улыбнулась Нора. — Какая-то у меня здесь "шишка".

Домашнее, интимное это слово повисло в тишине кабинета.

— Ну, ну, — чуть помедлив, поднялся он. — Разденьтесь.

Он намеренно долго не притрагивался к груди, измерял давление, пальпировал желудок и печень, прослушивал сердце и легкие, просил дышать-не дышать... Хрящеватый, с горбинкой нос и рачьи глаза на одутловатом лице выглядели уныло.

— А теперь давайте, что там у вас, — он зашел к ней за спину, и атласные подушечки его пальцев одновременно легли на обе груди и, осторожно перебегая и нажимая, как на клавиатуру, ловко ощупали их.

— Подождите, пожалуйста, — сказал доктор и с неожиданной прытью, весь перекатываясь, точно мешок с арбузами, двинулся к двери.

Накинув на голые плечи кофточку, Нора сидела, ждала. Капала из крана вода за ширмой; вспомнился поразивший ее еще в детстве рассказ про старинную китайскую пытку каплями в темя; прилетела птица на подоконник, бойко повертела головкой, постучала клювом по жести, вспорхнула; на столе ровной стопкой лежали тетради с историями чьих-то болезней. "Корнфельд", — вытянув шею, неизвестно зачем прочитала она.

Вернулся унылый турок с маленьким, рыжим, веселым доктором. У того были жесткие красные руки, красная щетинка на красном лице, яркие голубые глаза и просвечивающие розовым, большие, как локаторы, уши. Он больно намял ей грудь и картаво сказал:

— Придется оперировать, дорогая.

— Рак? — спросила она.

— Ну вот, сразу рак! Существуют десятки, сотни различных новообразований. Вы же культурная женщина, а проявляете такое элементарное невежество! Слушайте сюда. Опухоль у вас свободно перемещается, края гладкие. Просто красавица, а не опухоль! Чик, и нет ее, не успеете даже глазом моргнуть!

Выражение лица у него было такое, словно речь идет о какой-то потехе: о том, чтоб среди зимы окунуться в прорубь или проехать задом наперед на велосипеде... Забавно просвечивали на солнце его торчащие уши.

ПОДЗЕМНЫЙ ВЕТЕР

С этой минуты она больше себе не принадлежала.

Как в метро — едва лишь при входе опухнет горячим калориферным воздухом, и человек уже, хочешь-не хочешь, а вписывается в четкий, кем-то загодя, еще в чертежах, запланированный маршрут, и вот вливается в поток таких же безликих фигур и вместе с ними, стоя в затылок на эскалаторе, плавно спускается в преисподнюю, сворачивает к лестнице перехода, со всем стадом — при невидимом пастухе — гулко топчет по отдающему эхом длинному коридору, затем бежит по перрону, и, разве, одно оставлено ему право — выбрать, в какой сесть вагон, да и то не всегда хватает на это времени. С обвальным грохотом поминутно наскакивают поезда, двери, шипя, сами собой разъезжаются, пропускают народ и захлопываются, клацнув, словно поставив точку. А там уж человека несет потусторонняя сила и странным подземным ветром овеивает лицо...

— Мам, ты уже?

— Погоди, сынок. Меня кладут в больницу, Илья.

— Да? Что такое? — в его голосе наряду с удивлением сквозит и досада. (Илья немедленно озлоблялся при самой малейшей угрозе его покою, но почему-то свое озлобление он чаще всего направлял не по адресу). — А что говорят?

— Говорят, нужна операция. Подождите меня, я скоро... Иду, иду! — и Нора кинулась вслед за доктором.

— Нина Петровна, обзвоните онкологические больницы, скажите им "цито", ясно? А вы тут, голубушка, посидите пока в креслице, и что вы так побледнели, мне это вовсе не нравится, а то, что в онкологические, так эти операции — тьфу, ну просто щелкают, как орехи!.. Нина Петровна, пожалуйста, как выбьете коечку, сразу ко мне, а вы не вешайте носа, поверьте мне, деточка, у вас же сущие пустяки, — и, потрепав ее по плечу, рыжий доктор умчался, кланяясь направо-налево знакомым больным.

Из-за двери до нее доносился голос старшей сестры:

— Шестьдесят вторая? Мне нужна койка, женская, молочная железа, нет, у нас "цито"... Надо же, сразу отбой, вот гады. Боткинская, мне нужна койка, молочная железа, "цито"... А может, как-нибудь сделаете? Чтоб ты пропал! Первая Градская, вы меня слышите, девушка, не дадите нам одно место... да что они койками на базаре торгуют, что ли? Бауманская, у меня к вам великая просьба, коечка, женская, "цито", молочная железа... Да, опять, а что тут такого? — сейчас это модно... Ой, большое спасибо! Слава те, Господи, железные нервы нужны на этой работе. Ну, так.

Нина Петровна вышла пунцовая, встрепанная, сердито сказала:

— Завтра к двенадцати в Бауманскую, вот направление, поставьте в регистратуре печать, — и холодно, отчужденно скользнула взглядом по Норе, словно надеясь, что, если не проявлять ни излишнего любопытства, ни милосердия, можно отвести, заклясть — чур, чур меня! — эту ужасную, клеймящую кого попало беду.

Нора заметила: люди отваливались от нее один за другим. Сначала унылый турок (едва лишь за ней и за рыжим доктором закрылась дверь кабинета, он не просто остался у них за спиной, а словно раз навсегда исчез из Нориной жизни), потом этот рыжий легко отодрал ее от себя, хотя и пыталась она за него уцепиться — пускай не руками, так жалобным взглядом, — и вот теперь Нина Петровна.

Однако надо идти и делать то, что велели: поставить печать, уехать на дачу и распрощаться с детьми, со всем своим прошлым, которое уже начало отпадать от нее по кускам, а утром явиться в Бауманскую — и будь, что будет...

"Как хорошо, когда от тебя ничего не зависит", — пришла ей в голову странная мысль. Не думать, не выбирать, ввериться чьей-то, может быть, высшей воле.

Она огляделась вокруг: та куда-то спешит, тот понурился в кресле, этот спорит — "нет, вы уж извините, сейчас моя очередь, а не ваша!" — у всех на лице забота, у нее у одной никаких забот, никто не в силах что-либо с нее спросить, никому, ничему она не подсудна, неподконтрольна — у нее рак.

Нора медленно улыбнулась. Непонятная гордость вселялась к ней в душу. Она вздернула голову и так, с улыбкой, направилась к мужу и сыну.

— Сейчас поставлю печать и поедем, — сказала она.

Печать скрепила то, что смутно забрезжило в ней, — ощущение свободы. От тягостных обязательств, от низменной ревности, от всей этой путаницы в отношениях с мужем, от необходимости притворяться и лгать в самом главном, в своей работе, которая день ото дня становилась для Норы все нестерпимей, хоть брось и меняй профессию. Жизнь с ее неразрешимыми сложностями отступала, потеряв над ней власть. Свобода, свобода...

ЧЕЙ ЖРЕБИЙ ЛУЧШЕ

Однако в автобусе, по дороге на дачу, вся эта вымученная идея свободы улетучилась, не оставив следа. Каждая фраза сама собой выстраивалась у нее в голове, начинаясь с плаксивого "мало того, что я..." и оканчиваясь яростным: "и вот теперь еще это..." Она испытывала почти элорадство от воспоминаний о давно пережитых несчастьях и сердито отмахивалась от своей же собственной излюбленной мысли, что с течением времени эти несчастья удивительным образом перепла-

вились в богатство ее души, в основной капитал ее биографии.

"Мало того, — начинала она с блаженным внутренним всхлипом, — что я так намучилась в послевоенные годы, без угла, без прописки, Татку сунули по большому благу в детдом (настоящая "фабрика ангелов", как тогда говорили), а меня кое-как запихнули в артель "Гужтранспорт", должность моя называлась "культмассовик", но я, в основном, подписывала ломовых извозчиков на государственный займ, и уж куда они меня только не посылали, и этот голодный обморок на Люберецком базаре, и синеющий на глазах химически-ядовитый кисель, который мы, чуть подкрасив морсом, варили из присланного мамой крахмала и ели, обжигая гортань, не в силах дожидаться, пока он остынет, а у Ильи открылась язва, его рвало одной кислотой, это было так страшно, и он однажды сказал: "Пора выбираться из этой клоаки" и вскоре бросил меня, сойдясь опять со своей знаменитой Дравич, той самой Марианной, что во время гражданской войны, на Кавказе, работала с Берией, носила наган, спала на газетных подшивках и, если верить его словам, "своими нежными белыми руками расстреливала дашнаков", по-моему, это ужас, но голос его дрожал от восторга и умиления, и что характерно, она даже мне представлялась натурой яркой, сложной, загадочной, скорее ранимой, чем железобетонной, перед которой я, подавляя свою неприязнь, ощущала себя человеком косным, маленьким и ущербным, и — "Ты не отдашь мне мой свитер?" — спросил, собрав чемоданчик, Илья (надо признать, спросил не слишком решительно), и эта минута, когда я поспешно стянула при нем свитер, и еще (нам обоим хотелось расстаться интеллигентно) пошла Илью провожать, но вдруг заявила: "Все, хватит!", и он ушел от меня по шоссе, я долго смотрела, как он уходит, пока "кукушка" на переезде не заволокла его паром, и тогда вернулась в общагу, на хутор "Мальчики", рухнула на кровать, за стенкой ругались матом, а я плакала так, что, казалось, выреву все свои внутренности, — и вот теперь еще это..."

Автобус трясся и дребезжал, изредка останавливался, входили новые пассажиры, шумели, толкались, на поворотах разом валились набок, при торможении сбивались вперед, затем так же дружно откатывались, кто хохоча, кто бранясь, а Нора, отвернувшись от сына, от мужа, от всех, тупо глядела в окно, перебирала обиды — ничтожные вперемежку с существенными.

"Мало того, что тогда в Тернополе, куда в самый разгар бандеровщины приехали мы с Ильей после года разлуки зализывать свои раны, меня чуть не убили во время ночной перестрелки, — а что, запросто могло быть, не в тот раз, так в другой, ведь только и знала мотаться по селам, как, впрочем, и раньше, еще в Сибири, в Ханты-Мансийске, — всю молодость я провела в разъездах, то в розвальнях, то в лодочке-душегубке, то в бричке, и эти ночевки на грязном полу, на сальных чужих перинах, на сеновалах, а ради чего? — ради мерзкой пафосной полулжи, и этот туман в голове, и вечная необходимость ежеминутно кому-то доказывать, что ты не верблюд, а в благодарность за ревностное служение, за эту моральную экзотическую хлыстовщину (мне, верноподданной по характеру, так хотелось быть заодно со всеми) — удар под ложечку — и когда! — на девятый день после рожденья Антона записали в космополиты, выгнали из редакции (а газета, черт их дери, называлась "Вільне життя"), полгода мытарств, без работы, без денег, кончилось молоко, Антон заболел диспепсией, и этот старчески отрешенный взгляд поверх наших голов в пустоту, кто видел хоть раз такой взгляд у младенца, уже не забудет, не чаяли, что останется жив, еле-еле спасли, — и вот теперь еще это..."

В окна автобуса врывается свежий, настоенный на сосновой смоле ветер, чернел лес, блестели на солнце золотые пруды, однако же Нору ничто не могло утешить, и в глазах задвоилось от слез, когда сидящий сзади Илья похлопал ее по плечу и шепнул: "Не дрейфь, не такое выдюживали!"

Верно, выдюживали, и все-таки...

"А в Новой Каховке? — продолжала она смаковать свои горести, — разве я не выкладывалась до самого донышка,

разве не полюбила я эту стройку, не поверила всей душой, что паразитская наша империя наконец-то выбьется из нужды ("Советская власть плюс электрификация" — эта формула крепко засела в умах), а выбившись, накормив народ, возможно, — чем черт не шутит? — откажется от имперской жесткой конструкции, над страной появится воздух, свежий озон, как после грозы, и легче станет дышать... И вот я вкалываю в лепной мастерской (в газету не взяли), варю клей для формовщиков, настоящая ведьма — на костре железная бочка, дым, копоть, жарница, таскаю мешки с цементом, ведра с водой, с песком, замешиваю совковой лопатой раствор, "...эй ты, поворачивайся!" — подгоняют набивщики, и я поворачиваюсь, руки-ноги дрожат, голова пылает, как сковородка, в глазах марево, а потом, когда перешла на плотину, в грунтовую лабораторию, пробы, пробы, сто проб за смену, собачишься с мастером, ссоришься с лаборантками, тут же, правда, и миришься, делишь по-братски арбуз и буханку хлеба, и снова и снова пробы, пока не добьешься проектной плоскости: одна целая шестьдесят восемь сотых — проклятая цифра, сколько попортила крови! А однажды иду зимой в котлован — чучело чучелом: телогрейка, ушанка, ватные брюки и сапоги (со стороны не поймешь, не то баба, не то мужик), шагаю этак солидно, вразвалку, стараюсь подделаться под походочку работяг и вдруг понимаю: некуда падать, я в самом низу, ура! — ну-ка, где ваша власть, дармоеды? — и смеюсь, и дышу, глубоко дышу, впервые так глубоко и вольно за всю свою жизнь... а они как будто подслушали и в самую свистопляску с делом врачей навесили мне вредительство, все, как по-писаному: вызвали в спецотдел для любезной беседы, измордовали на общем собрании, публично грозили арестом, девки от меня отступились, "ушли в кусты", точно, как Шацкин и Ломинадзе в "Истории партии", но тут умирает Сталин, паровозы гудят, как шальные, над стройкой и городом патрулируют самолеты, у начальства явно "медвежья болезнь", выжидают, притихли, а тут — бац! — статья в "Правде" про социалистическую законность, и душу мою отпускают на покаяние, отделяюсь, как говорит-

ся, легким испугом, — а то что прогнали сквозь строй, безвинно вломили тысячу палок, неужто не в счет? Ведь если б не его смерть, пошла бы я по этапу, как пить дать!.. И вот теперь еще это..."

Автобус свернул к Степановскому, ехали в прохладе и сумраке елей, близко подступавших к шоссе с обеих сторон, до места остались считанные минуты, и Нора спешила додумать, словно от того, успеет она или нет, зависит ее судьба.

"Да, мало того, что после убийства Кирова выслали папу из Ленинграда, дали "минус пятнадцать" (не тогда ли все и сместилось в моем сознании — как же так, ведь страна наша самая лучшая, самая справедливая в мире?), и вот мы в Каловке — хорошенькое название! под Уфой, и папа и все мы унижены, поправы, а уже после, в Вязьме, на строительстве шоссе Москва-Минск, его и вовсе забрали от нас навсегда, судило Особое совещание, и этот загадочный приговор: "десять лет без права переписки", который, видать, скрывал под собою расстрел или же очень досадный для них неожиданный брак в работе, когда подследственный возьми да умри под пыткой (никто-никто из вернувшихся ни разу не встретил ни в тюрьмах, ни в лагерях, ни где-нибудь на этапе осужденных с подобной формулировкой!), увели человека из дома, и все, и конец, а следовательно, какой-то фанатик, а то и, по мнению сестры, клинический сумасшедший, сказал ей: "Забудьте его, — вам понятно? — вычеркните из жизни — он враг!", и сестра подумала, глянув ему в лицо: "Душегуб, ты убил его!", и мама с этого дня стала ждать, что придут и за ней, и совала мне перед сном золотые швейцарские еще дедушкины часы, говоря: "Спрячь их, тебя, возможно, не станут обыскивать, потом пригодятся, продашь", и как было страшно, когда однажды заколошматили в дверь и — "Вот оно!" — прошептала мама, но это явились звать ее в понятия, брали соседа, и мама, как ни была напугана, все-таки отказалась: "Простите, но этого я не могу", и какой тяжелый, з а п о м и н а ю щ и й взгляд уставил в нее чекист, однако же, обошлось, и маму, напротив, еще так приторно-ласково уговаривал на депутатском приеме маршал Егоров: "Выходите замуж, вы же совсем молодая",

а, впрочем, через неделю портреты маршала повсюду сорвали со стен, на его место в Верховный Совет был выбран начальник Смоленской железной дороги, но бесследно исчез и он, а у мамы от всех этих ужасов началась бронхиальная астма, по двадцать приступов в сутки, и эти ее ночные хрипы и свисты, когда, казалось, сейчас, вот сию минуту она задохнется, словно пропал, улетучился воздух и в доме, и в городе, и в стране, и непонятно, чем дышат люди, но чем-то мы все дышали и дожили до двадцатого съезда, а мама тут-то и задохнулась и умерла за день до посмертной реабилитации папы, "за отсутствием состава преступления", — как мило сказано было в справке, — и деньги, выданные за его гибель (довоенная двухмесячная зарплата), пошли на ее похороны... Услышать в Верховном суде соболезнование, что вот, мол, в преддверье войны человек построил замечательное стратегическое шоссе, а его за это убили, отдать за клочок бумажки веру в его возвращение (надежда теплилась, несмотря ни на что, до последней секунды), вынести всю эту боль, всю эту непостижимость — зачем? Чтоб заболеть теперь раком? Удар за ударом, сколько же можно, за что?!"

Автобус, делая круг на площади у поселкового магазина, уже притормаживал, когда она мысленно, второпях, задавала Всевышнему этот вопрос, успев, однако же, осознать его "некорректное", как говорят социологи, построение, — увы, ее жребий был не горше, чем у других, спроси у первого встречного, и он о себе такого еще порасскажет... Но, Боже, как сладостно было, собрав все обиды в кучу, в кои-то веки себя пожалеть...

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

Ужинали грибами. Тетя Домна с Тэтой ходили сегодня в дальний лес, за сторожку, и набрали полный короб лисичек.

— Чого ж це вы так неважно кушаете? — с фамильярностью близкого человека спросила Нору тетя Домаша. — Грибочки — деликатес! О-ой, як же ж красиво воны из травы выгляда-

ли, граммофончики эти, забачила — радая сделалась, просто ужась!

Васильковые, источающие бесконечную доброту глаза ее так и сияли.

— Спасибо, тетя Домаша, я ем, очень вкусно.

— Не смей кукситься, — сердито шепнул Илья.

Тэта исподтишка наблюдала за матерью, и Норе было не по себе. Умная стала девочка, непонятная и словно немножко чужая. Вроде совсем недавно они с ней были одно существо, с общей кровеносной системой, и вот она отделилась, отпочковалась, будто заново родилась, — не дочь ее, не Сиамский, приросший к боку близнец, а подруга, со своим собственным миром и строем мыслей, с правом не изнутри соболезнавать и судить, а извне. Возможно, поэтому Норе не удавалось найти верный тон. Она томилась за ужином и что ни скажет — во всем ей самой слышалась фальшь. Зато Илья себя чувствовал, точно рыба в воде.

— Наша мамочка, — разливался он с упоением, — завтра ложится в больницу, ей, вероятно, сделают операцию, но вы же знаете, какой она молодец, нисколько не трусит, правда же, Норушка? Она у нас не какая-нибудь жалкая барынька, которая стонет и хнычет от укола в белую жирную ягодицу! Наша мама пойдет с гордо поднятой головой, как мы когда-то ходили в атаку на белых, почти безоружные, в опорках, в драных шинелишках!.. — ему казалось, что все это к месту, а то, что он сам не ходил ни в какие атаки — безделица, если принять во внимание высшую духовную слитность его "я" с этим праведным "мы", и глаза его увлажнились.

Нора резко встала из-за стола, и тетя Домаша, вздрогнув, бросила на нее укоризненный взгляд. Она-то всегда своего хозяина слушала очень внимательно, стараясь не проронить ни звука, кивая и даже тихонечко повторяя за ним последнее слово каждой фразы.

Единственно, что искажало ее ясный и добрый нрав — это страх. Как существо подневольное, тетя Домна боялась едва ли не всех: милиционера, толстого прохожего в шляпе, продавца в магазине, врача в поликлинике, управдома, хозяина,

вообще мужчин — любого обладателя власти, самой ничтожной, у нее-то ведь не было никакой, ни над кем, — и в минуты страха, всегда готового стать паническим, менялась неузнаваемо, так что больно было смотреть на нее. Страх поедал в ней все лучшее: ее бесхитрость, прелестную не по возрасту, шаловливость, ее поразительную для неграмотной женщины деликатность. Поначалу, словно угаснув и отупев, она делалась вдруг не в меру угодливой, льстивой и была, казалось, способна на самый подлый поступок.

Но едва лишь страх ее отпустил, она восклицала с веселым смешком на своем забавном украинско-русском наречии, да еще и с вкраплением галлицизмов — она родилась в Бессарабии: "О-ой, уся мягкая стала — трусюсь, як бламанже!"

— Пойду прогуляюсь, — сказала Нора.

— Между прочим, — заметил Илья, — могла бы помыть посуду. Тетя Домаша и так тут крутилась одна целый день. Не купила же ты ее на невольничьем рынке!

Нора остановилась. Такого рода упреки действовали на нее гипнотически.

— Та я вымою, — еле слышно произнесла тетя Домна.

— Иди, мама, — отрезала Тата. — Мы прекрасно управимся без тебя.

— Правда?

— О чем говорить, иди.

Вот эта девочка ничего не боялась. Не поддавалась мистификации. Не то, что Нора и тетя Домна. Когда это с ней совершилось? Как будто она примкнула к какому-то новому вольному племени.

— Спасибо, — сказала Нора, медленно спустилась с веранды и побрела к полю.

Она хотела побыть в одиночестве. Надо было подумать. Она теперь вроде бы поняла, почему на нее напал рак. Потому что у всякого человека есть надежды, своя, пусть робкая, цель, но если надежды и цели эпохи не совпадают с его, личными, жизнь кажется безысходной, лишенной своего изначального смысла, и человек ощущает подавленность — не только нравственную, духовную, но и телесную. У него перерождаются клетки...

Нора сидела на лопухах за колхозной конюшней, смотрела на дальний лес, на небо, на клевер и чувствовала, что навсегда прощается с этим. Но вдруг осознав, что ей сладко прощаться, она взбунтовалась. В любовании собственной слабостью было некое чванство. Тогда ей и стукнула в голову мысль об опасном аристократизме этой болезни. "Нет, нет, не желаю, не будет того", — подумала Нора и встала.

Когда она подходила к даче, было уже темно. Ярко светились незавешенные окна веранды. По-видимому, лицо у нее было не слишком унылым, потому что Илья, едва взглянув на нее, бросился к ней с дурашливым криком: "Наша мама пришла, молочка принесла!", затормозил ее, закружил. Антон залиvisto засмеялся, запрыгал на месте, а тетя Домаша, сияя глазами, помахивая платочком, прошлась вокруг них павой.

Потом улеглись.

В темноте Илья сграбастал ее в объятия, крепко прижал к себе, зашептал: "Дуся моя, не бойся, я же с тобой, я не брошу тебя в беде, мало ли что случается в жизни, с кем не бывает, но люблю я тебя одну, помнишь, в Омске, как я носил тебя на плече, а тулуп, помнишь, как ты забралась ко мне под тулуп, а форточку мы заткнули подушкой, и как мы ходили, обнявшись, по коридору и говорили о будущем, какое оно будет прекрасное, и как после фильма "В старом Чикаго" я тебе обещал, что мы непременно там побываем, и разве Ханты-Мансийск не был нашим Чикаго? Худышка моя, я тебя вылечу, жизнь только еще начинается, смотри, какие у нас чудесные дети, и как сегодня Тата сказала: "Иди, мама", она меня тронула просто до слез, это уже человек, серьезный и взрослый, нам теперь есть на кого опереться, я каторжник, грубый мужик и часто тебя обижаю, но я исправлюсь, честное слово, мы будем учиться у наших детей, просто я взвинчен сегодня, я так за тебя испугался, ведь ты моя гордость, мой маленький храбрый воробышек", — и гладил ей плечи, волосы и целовал, целовал.

НЕЧЕСТИВЦЫ

Так, дремотно думая, вспоминая, почти не двигаясь, за мерев, будто находясь в состоянии анабиоза, пролежала она в своей ямке до самой ночи. Жизнь палаты в тот первый день еще не задевала сознания, текла мимо. Словно сквозь сон слышала Нора отдельные фразы: "Боюсь грозы, особенно ночью. Молонья блиснет, а я, как курица, подкопаюсь к своему муженьку и нишкну", или: "Галина Сергеевна из двенадцатой, ну та, что с меланобластомой, дала мне рецепт сметанного крема — хотите списать?" Больные входили и выходили, звенели ложечками в стаканах, завели разговор про вчерашнюю телевизионную передачу и кто-то сказал: "Да что ж он так по-идиотски любил-то ее?" — а после ужина пошли всей гурьбой во двор.

Кроме Норы осталась в палате только одна старуха — тихая, древняя, ангельски-терпеливая, — у которой, как Норе немедленно доложили, была в груди разросшаяся до невероятных размеров опухоль, запущенная, уже с метастазами, и которую лечили "пушкой". Койка ее стояла на самом тычке, у двери. Старуха не лезла к Норе ни с разговорами, ни с расспросами "всю дорогу молчит", — заметила про нее та, что боялась ночной грозы, и Нора с бабусей, хотя и молчали совсем по-разному, мирно провели целый час вдвоем, в тишине.

Норе почему-то казалось, — и это подтвердилось на следующее же утро, во время обхода, — что баба Надя (так ее все называли, в том числе и врачи) ничуть не страдает в больнице, скорее даже блаженствует, возможно, впервые, на старости лет, сподобившись неподдельного интереса к себе, внимания и заботы.

К свиданию с палатным врачом старуха готовилась истово, точно к светлой заутрене: аккуратно перестилала постель, взбивала подушки, долго расчесывала седые редкие волосы, заплетала их в тоненькую косицу и, широко улыбаясь беззубым ртом, не в силах сдержать ликующей, младенчески-

безгреховой этой улыбки, ложилась под одеяло, выпростав узловатые крестьянские руки, которым в этот момент не хватало разве зажженной свечи.

Черты характера и все поведение бабы Нади вырисовались, однако, позднее, а пока что Нора была благодарна ей за час подаренной тишины. Потому что, когда все с отбоем вернулись в палату и, вдоволь побегав, посуетившись, исполнив вечерние процедуры, приняв лекарства и погасив свет, наконец улеглись, никто не заснул, а еще долго хихикали, обсуждая некую Лельку, ну ту оторву из двадцать третьей, которой врачи сказали: "Отрезано только то, что вам абсолютно не нужно, детишек у вас хватает, прочее же на месте", и Лелька, желая это проверить, переделась в уборной и в мертвый час тайком удрала домой, а приехав назад, сообщила, что все оказалось тип-топ, Валерка вообще ничего не заметил и остался вполне доволен!

Но и потом, когда отсмеялись по этому веселому поводу, и, постовав, покряхтев, повернулись каждый к своей стене, тишина не настала, — дышали все вразной, кто храпел, кто тихонечко всхлипывал, скрипели кровати, в коридоре отчаянным шепотом жучила няньку сестра, тархтел мотор во дворе, — подъехала "скорая" — и под самым окном санитары с грохотом выволакивали из машины носилки, на асфальтовом пятачке гулко раскатывались их реплики: "Берись, да не так, дубина, левее, давай на себя заводи!", но там, видать, что-то заело, носилки заклинило намертво, и больного пришлось тащить на руках.

Больница жила своей жизнью, звенел телефон: "Елена Ароновна, — звала сестрица дежурного доктора, — спустись ко мне на третий", — и пошла суматоха, ставили раскладушку, кого-то, — наверно, вновь поступившего, — укладывали в коридоре, тот говорил, что его тошнит и просил принести ему тазик, нянька ворчала: "Где ж я им напасусь тазов?", но сестра приказала найти, и тогда она его шваркнула об пол так, что, поди-ка, слышно было на всех этажах. "Да-а, — подумала Нора, — аристократизмом здесь что-то не пахнет!" В палате зашевелились, одна из женщин жалобно произнесла в

темноте: "Вот паразиты, чего они там с ума посходили?", и снова все принялись стонать и вертеться на своих скрипучих кроватях, как нечестивцы в аду.

ИГРА

Была у Норы в той прежней, давнишней жизни игра: складывать из причудливо вырезанных кусочков фанеры картинки к сказкам Перро. Фанерки эти, напоминающие ярко расцвеченные амебы, подгонялись друг к другу лишь с превеликим трудом, и стоило чуть ошибиться, как образовывались пустоты, в которые уже ничего не хотело влезать. У Красной Шапочки не хватало корзинки, у Золушки — не отыскивалась хрустальная туфелька.

Нечто подобное получилось у Норы при первом знакомстве с соседками по палате. Впечатление о каждой из них было каким-то дырявым: порой в нем отсутствовали наиважнейшие элементы. А ведь Нора всегда так гордилась своей проницательностью, умением раскусить человека (если это, конечно, не какой-нибудь уникум) почти что с ходу, с налету. А что тут за уникумы? Простые обыкновенные люди.

Взять хотя бы Иоганну Карловну с койки напротив. Врач-пульмонолог, работает в диспансере, Норе уже известно, что мать и родная сестра ее умерли от рака желудка. Наследственность, однако, Иоганна Карловна отрицает: "Просто у них, у обеих, была дурная привычка есть все прямо с плиты, с пылу, с жару, а это для слизистых — гибель, возникли сначала язвочки, лечиться — как следует не лечились, болит — ну и ладно, а жили они в Казахстане, в Иргизе, Богом забытый райцентр, врачи никудышные, проморгали, и вот результат — переродились язвочки в опухоль. Ну, а поскольку я как-никак сама медик, — дай, думаю, прооперируюсь от греха".

Лицо у Иоганны Карловны осунувшееся, под глазами круги, но улыбка задорная, правда, по мнению Норы, натужно-задорная, и то еще настораживает, что она, пользуясь своим старшинством (если не принимать в расчет бабу Надю),

постоянно делает всем замечания: "Фу, Паня, кель выражанс!" или: "Берта, не фокусничайте!" Даже Норе успела сказать с намеком: "Пора, красавица, проснись", и Нора улыбнулась с привычной готовностью, как бы удостоверяя свою лояльность.

Зато взгляд у Иоганны Карловны часто бывал весьма ироничным, в особенности, когда она, вздернув брови и язвительно скривив рот, лежа читала исторические романы. Как правило, это были не самые лучшие книги на свете, но, впрочем, и не из худших: "Мария Стюарт" Цвейга, "Испанская баллада" Фейхтвангера, а Иоганне Карловне то ли казались смешотворными описанные там средневековые страсти, то ли, напротив, она искала и находила в тексте какие-то аналогии с нашей жизнью, и тогда ее скепсис относился, скорей, к современности...

Словом, не складывался у Норы, что называется, "стройный образ" Иоганны Карловны — быть может, недоставало на шляпе страусового пера, а, быть может, куда-то запропастилась шпора.

Или взять пресловутую Паню: работает приемщицей в прачечной, муж — водитель троллейбуса (она произносит "тролебус"), дочь у нее "мастер" (имеется в виду парикмахерша), а лексика такова, что Иоганна Карловна, если и не сделает ей замечания, то бросит укоризненный взгляд, — "оторва", "тип-топ", "всю дорогу молчит" или это ее бесподобное "я тебя в упор не вижу". Ну что, казалось бы, в ней неясного? Проще пареной репы — вынимай из мешочка фанерки и складывай фигуру мешаночки с московской окраины. Ан — не выходит.

Однажды завела она разговор про сына — он был в армии, где-то в Сибири — и вдруг по наивности выложила такие подробности его службы, о которых в этой компании "с бору да с сосенки" лучше бы умолчать.

А говорила она вот о чем: что, мол, Игорь работал там в подземелье, и в одно прекрасное воскресное утро их отделение привезли на работу, велел следить за приборами. Каждый сидел в своей камере, как вдруг загорелась красная лампочка

и так заверещал, загудел какой-то там счетчик ("уж не Гейгера ли?" — подумала Нора), что все они повыскакивали из камер и увидели, что гудит весь туннель, а электричка в тот день не ходила (потому — воскресенье), сказано было, что придет за ними только к концу смены, и тогда они побежали по шпалам, и туннель гудел, как психический, и на стенах мигали красные лампы, а сзади их еще догонял какой-то кошмарный шорох и писк — это была "крыса", целые полчища крыс сплошной рекой неслись по туннелю, так что пришлось переждать, пока, залезая друг другу на спины, в два, нет, в целых три этажа, крысы прочешут мимо, а потом ребята помчались дальше, к горлу туннеля, туда, где в свинцовой будке стоял часовой, еще оставалось семь километров, а когда бежать уже было всего-ничего, Игорь упал и сказал, что все, больше не может, конец, но тут Ванька Хватов, сержант, спасибо великое, заставил его подняться, да матом, матом его хорошенько и, когда, наконец, они выскочили за зону и чурками попадали в снег, — нате вам! — обнаружилось, что одного солдатика где-то в пути потеряли, чучмека по имени Иламан (здесь Иоганна Карловна, не выдержав, перебила: "Фу, Паня, что еще за чучмек, как не совестно, право!", на что та даже не отмахнулась, словно не слышала), и Ванька Хватов сказал: "Ребята, неужто бросим его? А ну, кто со мной?", и тогда ее дурошлеп поднялся с сугроба: "Мать, не мог я иначе, — объяснил он ей, — в тот момент, говорит, решалось, кто я есть, человек или фраер", ну, и пошли назад, и сам часовой им сказал: "Вам что, ребятки, жизнь надоела? Туннель-то — аж воет", но они не послушались, дошли до места, где, точно помнили, еще был Иламан, а там как раз ответвление (приотстал, видать, от своих дружков да и свернул не туда), искали-искали, а он, сердешный, как провалился, может, крыса его съела, только больше того чучмека начальство даже не поминало, как и не было человека, а энтих, всех до единого, на проверку возили в город и оказалось, много что-то они схватили рентгенов, а Ванька Хватов с ее Игорьком — даже по несколько сот, так что списали их подчистую.

Ну, как это все понять? Правда, назвала она своего Игоря "дурошлепом", что в ее образ в общем-то "вписывалось", но рассказ в целом да и само словцо окрашены были такой материнской гордостью, что Нора не могла не признать: в картинку под названием "Паня" явно попали чужие фанерки, которые некуда вставить. Так, может, ошибка в эту картинку вкралась уже вначале ?

Или вот Берта, которая вечно "фокусничает". Что с ней толковать? Работает в "комиссионке", специальность у нее "шахер-махер", любимое выражение: "Я вам устрою", даже в больнице ходит в бриллиантовых серьгах, больничную пищу не ест принципиально, вслух говорит, что она "для свиней", но тем, что приносят из дома, делится щедро (Норе кажется, впрочем, что движет ею желание оградить себя от упреков в еврейской жадности), попеременно ходят к ней трое мужчин: один — это муж, Ося, тоже какой-то делец, очень к ней нежный, внимательный: "Берточка, что тебе нужно, скажи, я все достану", и точно — из-под земли достает, второй, — как видно, любовник, Борис, к его приходу она основательно мажется (по выражению Пани — наводит на себя марафет), в то время как перед Осей только и знает, что хныкать, третий — красавец-мальчишка лет двадцати, Левчик, по всем признакам — сын, но когда Томка, шпалоукладчица, однажды спросила: "Сынок ваш, верно, студент?", Берта ответила: "Да, и не какой-нибудь, а кибернетик, но это приемыш", и поскольку от любопытства у всех разгорелись глаза, она рассказала историю, как в сорок восьмом у них на площадке, забрали соседей, остался ребенок, вот этот Левчик, и как они с Осей сначала просто подкармливали его, но потом, когда мальчишку чуть не отправили в детприемник, они, немного поколебавшись, усыновили его и теперь не жалеют, мальчик — это что-то особенное, солнышко в доме, а родители, выйдя из лагеря, в Москву не вернулись, поселились в Крыму, в винсовхозе, у матери Левчика в лагере открылась чахотка, но сын не забыл стариков, навещает их каждое лето, уж можете ей поверить, об этом она позаботилась, да его и заставлять не приходится, говорит же она, что мальчик — это что-то особен-

ное, и разве не подлость была бы бросить больных стариков, а Левчик вырос не подлый, чистое солнышко, и она и Ося души в нем не чают, и старики его, хотя и со странностями, а странности у них — это нечто! — рассказать — не поверят, но люди они абсолютно честные, прямо-таки чересчур, и она, Берта, даже слышать не хочет, что у нас зазря не сажают, вот именно, что зазря, и ей наплевать, если Вера Георгиевна, или кто-то другой, пускай хоть сам прокурор, товарищ Беляев, который вконец истрепал ей нервы, ее за это осудит, но она не станет скрывать, что они с Осей регулярно собирали им в лагерь посылки, да, да, и можете теперь ее резать!

"Вот вам и Берта", — словно кому-то в укор сказала Иоганна Карловна.

А то еще Аля, студентка педвуза. Эта девушка понравилась Норе с первого взгляда: баскетбольного роста, с прямыми, до плеч, и белыми, обесцвеченными перекисью волосами, вся плоская, как доска, но с высокой и пышной грудью, той самой грудью, в которой нашли подозрительный узелок, — Аля словно нарочно кем-то была задумана, как живой экспонат акселерации молодежи. Но при этом — ни капли инфантилизма, лицо, хоть и нежно-розовое, зефирное, всегда задумчиво и серьезно, светлые брови сдвинуты, и когда на нее ни помотришь — сидит читает, прикрыв ладонями уши, завесившись от всех волосами и скруглив свою длинную узкую спину так, что можно пересчитать сверху донизу все позвонки. И ведь чем увлекается этот смешной продолговатый ребенок! Руссо, Монтескье, Монтень!.. Иногда она что-нибудь говорит — глаза совершенно хмельные, подернуты дымкой восторга, а голос далекий, едва слышный, и доносится словно с другой планеты, преодолевая помехи материального грубого мира.

"Послушайте, нет, вы только послушайте, — взывает она: — Несчастье постигает народ, когда те, кому он доверился, стараются его развратить, желая этим скрыть свою собственную испорченность. Чтобы он не заметил их властолюбия, они говорят ему о его величии; чтобы он не заметил их алчности, они постоянно потакают его собственной алчности". И прочи-

тав что-нибудь в этом роде, Аля вновь утыкается в книгу.

Даже Вера Георгиевна, которой должен быть чужд этот тип людей "не от мира сего", добродушно прозвала ее Аэлитой. "Нет, нет — возразила Иоганна Карловна, — помните Солнцеву в этой роли? Она была черная, роковая, женщина-вамп, а наша Аля — Селена". Но Аля ее уже не услышала, отлетев от земли в космос, остальные не поняли, переспросить постеснялись (Вера Георгиевна — чтобы себя не ронять), и прозвище Аэлита так прочно прилипло к Але, что кое-кто из других палат счел его за полное ее имя.

"Вот бы свести с ней Тэту, — подумала как-то Нора, — авось, с ее легкой руки, и она увлечется историей философии", но тут разыгралась сцена, несколько ее покоробившая. Ораторствовала во время обеда Вера Георгиевна, распространялась на свою любимую тему о положении женщин в Советском Союзе (она какая-то профсоюзная деятельница), и Паня, конечно, сказала: "Да будет вам заливать!". Роза-татарка, маляр по профессии, лениво заметила: "Ох, совсем вы оторванная от жизни", а Томка-шпалоукладчица кинулась спорить: "Заглянула бы лучше в нашу контору, чем языком-то молотить, — ведь что ни мужик, то нами командует, что ни баба, то горбит, а шпалы, они, между прочим, чижолые! Я через шпалы-то эти и угодила сюда — крестец как-то раз задели, он и начал болеть, а ты говоришь — положение!"

Норе тоже было, что вспомнить, хотя бы о Новой Каховке, где женщинам закрывали наряды по двенадцать рублей на старые деньги, а мужикам — по сорок, и мастер объяснял это тем, что мужчина, себя уважающий, за копейки ишачить не станет, ему подавай прожиточный минимум, ну и ломаешь голову, как ему натянуть: то двойную перекидку запишешь, то еще что, а женщина, как бумага, все стерпит! И Нора еле сдержалась, чтобы не ляпнуть: "Вот так у нас, Вера Георгиевна, обстоит с оплатой за равный труд!"

Но тут Аля, неожиданно очнувшись от своего забытья, — откуда возьмись и голос и трезвый взгляд — резко одернула Томку: "Можно и нужно спорить, но почему ты всегда так снижаешь уровень разговора? При чем тут крестец?" — "А при

том, — заорала Томка, — что, где у нас техника безопасности ваша хваленая, где подъемные механизмы? Начальства кругом — аж в глазах черно, а работаем, как при царе Горохе, бабьим "пердячим паром!" — "Томка, Томка!" — залопотала Вера Георгиевна. "Вот это врезала, молодец!", — хлопнув себя по ляжкам, одобрила Паня. Роза злорадно расхохоталась, Иоганна же Карловна, против обыкновения, смолчала, только ехидно скривила губы. Мечтательница Селена зарделась, как маков цвет, и углубилась в божественного Монтеня, а Нора опять пришла к выводу, что не так уж она прозорлива, как ей представлялось, что жизнь и люди таинственны, всюду зияют загадочные пустоты.

КАСТА

Но такие "отвлеченные", по выражению Веры Георгиевны, разговоры были все-таки редкостью, в основном же в палате мусолили тему болезни. И странно: каждая все досконально знала о прочих, относительно же себя пребывала в полном неведении. Вначале это казалось Норе притворством, но потом она убедилась — и тут тоже нельзя судить с кондачка.

Иоганна Карловна несколько раз и даже очень настойчиво повторяла, что у нее — не рак. Почему? Неужели и впрямь она в это верила? Или так же, как Нора, боялась признать, что ее разгромила эпоха? Или считала нескромным относить себя к столь "родовитым" больным? Бить на жалость, заранее зная, что непременно последуют лицемерные опровержения? А может быть, ей претила показная бравада? Или просто она стояла на страже декорума, который усиленно насаждался здесь персоналом и соблюдался неукоснительно всеми больными?.. Все это было пока не ясно. Но характерно, что неприличие заключалось лишь в трезвом осознании собственных обстоятельств, про других же болтали без зазрения совести, с поражающей Нору жестокостью и цинизмом, ничуть, однако, не связанным с отношением к данному конкретному человеку.

Стоило, например, Иоганне Карловне выйти на минуточку из палаты, как все торопливо, наперебой, с горящими от возбуждения глазами, принимались обсуждать ее положение: "Чудачка, как же не рак? А вчера пожаловалась Елене Ароновне на свинцовый привкус во рту — первый признак! У меня же вот нет свинцового привкуса!" (Вера Георгиевна). "Точно, точно, — кивает ей Томка. — Завсегда при раке желудка свинцовый привкус, я тоже слыхала! ("Большой знак!" — усмешается Нора). А мать ее? А сестра? У ней же наследство какое... Ой, тихо, девки, идет".

Но едва отлучается Вера Георгиевна, та же самая Томка (вообще-то милое, доброе существо) с презрением пожимает плечами: "Это надо же! Верушка наша, смех, да и только! Нет, мол, свинцового привкуса! А не жрет ничего? А отрыжка? Да вчера говорила — быдто камни под ложечку понапиханы, самый рак-то и есть!"

И никто не одернул ее, даже Иоганна Карловна. Лежала, читала, а, возможно, — прислушивалась к своим ощущениям.

Всех терзали страх за себя и душевная боль, которые не выплескивались наружу отчасти из осторожности, из суеверия — как бы сказанное словами, вслух произнесенное не закрепилось за ними, не превратилось бы ненароком в самостоятельную, не зависящую от их воли реальность.

Но и не говорить о болезни совсем — было не вмоготу. Требовалась разрядка, иначе ведь и свихнуться недолго, и, едва представлялся случай, эти несчастные, прервав на полслове беспечную болтовню про тот же "сметанный крем", или "тюлевые накидки", или "костюмчик-джерси" ("Я вам это устройю") — болтовню, что всего минуту назад их так, казалось бы, занимала, — с каким-то мучительным наслаждением пускались в дебаты по поводу эмбихина, от которого Розататарка прямо-таки загибается, блюет и блюет, да и как, поди, не блевать, эмбихин-то это иприт, а у нее, конечно, уже метастазы, профессор ей на большом обходе ощупывал селезенку, и если так, то Розе капут, уж это как пить дать, и Томке тоже что-то не светит, не жилец она, не жилец, у ней, вполне возможно, саркома, тогда помрет еще до Октябрьских, о, Госпо-

ди, милостивый, а муж-то как ее любит по-ненормальному, определенно трехнется парень. Ну, это ты брось, чепуха, кобели они, все до единого, фу, Паня, вы же этого сами не думаете, вот именно думаю, Карловна, как не думать, когда, вон, к Любви Михаловне, пока ей не сделали операцию, каждый день забегал с работы супружник, а с тех пор, как ее уложили в палату смертников, и моча через трубку каплет у ей в бутылку с-под гамзы, только Юра-сынок когда-никогда и заглянет с цветочками, а муж, чай, объелся груш и носа не кажет, ах, Паня, Паня, откуда вы знаете, может, он просто в командировку уехал, да, Карловна, миленькая, я ж не первый год на свете живу, знаю их, паразитов, меня на мякине не проведешь! — и такая тоска звенит в ее голосе, что Нора вдруг понимает: для видимости называя других, они, по сути, всегда говорят о себе, о своем, и — вот парадокс! — не только из суеверия, но также из целомудрия столь прямы, беспощадны их речи.

СГОВОР

И все-таки, слушая их разговоры несколько свысока, Нора должна была вскоре признать, что они увлекали ее до страсти. Каждое слово жадно ею ловилось, подхватывалось, любая деталь занозой впивалась в сознание. Эмбихин... Да нет ли другого лекарства? Ну, не варварство ли лечиться ипритом? А впрочем, не ей судить. Хотя эмбихин, как будто, при раке груди не дают, а вот из чего тиотэф — никто не имеет понятия, надо бы выяснить. Но что если вдруг и ее под "пушку", как бабу Надю (чем резать, так, может, оно и лучше), у кого бы спросить, посоветоваться... Да что-то о ней позабыли, заглянула тогда в палату Елена Ароновна, и все, и пропала, у нее сегодня отгул за ночное дежурство, а завтра у них вообще выходной, в субботу и воскресенье врачей днем с огнем не найдешь, не больница, а вольница, теперь уж, все говорят, до большого обхода, до понедельника, вот вам и "цитю"! А у бедной Томки, наверно, саркома, и это — запомнить! — страшнее, чем рак у Розы, из-за какой-то невиннейшей штучки на

шее оказалась поражена селезенка, на среду назначена операция Пане, она свято верит (а может, не верит), что ей всего-навсего удалят эрозированные участки, но палате известно: операция предстоит радикальная, полостная.

Нора внимательно наблюдала за Паней со смешанным чувством режущей жалости к ней, но вместе и с любопытством. Словно издали глядела она на саму себя, на будущую "себя", перед своей операцией.

Настроение Пани менялось, точно погода в ветреный день: минуту назад хохотала, как полоумная, ерничала — вообще все эти клейменные, прикованные к тачке своей болезни каторжники соперничали друг с другом в удалстве, бесшабашности — и вот уже огрызается, плачет, рассорилась с Томкой, но тут же вдруг и затихла, легла, закинув голую белую руку за голову, и лицо ее стало таким значительным, важно-достойным, серьезным, будто и не она это вовсе, а схимница, праведница, наподобие бабы Нади.

Думала Нора и о Елене Ароновне, сопоставляла свое впечатление с тем, что здесь о ней говорилось, опять и опять вспоминала, как та, зайдя ненадолго в палату после дежурства, подсаживалась к каждой больной, о чем-то тихо их спрашивала, неофициально, приватно, — если можно прилепить это слово, старинное, мягкое, чуточку вкрадчивое, к женщине, с на редкость замкнутым, неподвижным, будто из мрамора выточенным лицом. Внешность ее была не слишком еврейская, несмотря на припухшие веки, солидный нос, темные и курчавые, выглядывающие из-под докторской шапочки волосы. Она напоминала, скорее, римского гладиатора, с этим ее волевым подбородком, трагическим выражением умных глаз, широко развернутыми плечами, большими, пластичными, сильными руками хирурга.

— Это вы вчера поступили? — спросила она у Норы.

— Да.

— Что у вас?

— Молочная железа, — кратко ответила Нора, угадав шестым чувством, что слово "шишка" здесь неуместно — оно зовет у Елены Ароновны лишь ироническую гримасу.

— Посмотрим, — сказала она, присаживаясь на койку.

Ощупала Норе грудь и, прищуренно глядя куда-то мимо, задумалась — не столь надолго, чтобы это молчание, расцененное, как знак серьезной угрозы, испугало больную, а ровно на тот, ни мгновением дольше, отрезок времени, который был нужен для осмысления данного случая. Все это Нора увидела своим, теперь обостренным зрением и даже слегка кивнула Елене Ароновне, словно одобряя и поощряя ее суховатую деловитость. В свою очередь и Елена Ароновна посмотрела на Нору, как бы желая понять, чего она стоит уже в мирском, человеческом смысле, и, заметив этот кивок, явно осталась ею довольна.

— Прodelайте анализы, — сказала она, поднимаясь, — а в понедельник, во время профессорского обхода, наметим вашу дальнейшую, скажем так, трассу, — на этом слове она слегка вздернула уголки своих плотно сомкнутых губ, этой полуулыбкой, точно железной скобой, скрепляя их обоюдное расположение и негласный сговор.

В чем состоял сговор, Нора, в который раз мысленно прослеживая всю сцену, вплоть до этой полуулыбки, в точности объяснить себе не могла. Ей хотелось внушить Елене Ароновне, что, не в пример остальным, она не нуждается в позлащенных пилюлях, ее бы больше устроило знание горькой правды, и это — без дураков, не для виду, не так, что просишь: "доктор, скажите мне все без утайки", а сама лишь того и ждешь, что тебя обманут. Однако уразумела ли это Елена Ароновна, а если уразумела, то не одумается ли после, захочет ли рисковать душевным состоянием больной, — она была не уверена.

Но все же они о чем-то договорились, и Норе это было приятно.

ТАЛИСМАН

Забившись впервые в ямку своей больничной постели, свернувшись клубком, желая лишь одного — спрятаться в ней от всех, провалиться в нее и заснуть, — она не подозрева-

ла, что ямка эта вместе с кроватью окажется, словно в каком-то быстро мчащемся поезде. Далеко-далеко уехала Нора за эти три дня. Дом и все прежнее, милое ей и немилое, безвозвратно отстало, оторвалось. Горько было уезжать от детей — чуть вспомнит сломанную руку Антона или Таткины любящие, такие пронзительные глаза, и сердце немеет, заходится болью, однако — что притворяться? — лишь на минутку, и вот она снова едет, грохочут колеса, что-то мелькает, мелькает, новое, незнакомое, кем-то силком навязанное, но поневоле засасывающее. Она с охотой покоряется обстоятельствам, чувство долга, вечный ее поводырь, заметно ослабило хватку, напоминая теперь о себе лишь редкими, зато острыми, как игла, укорами совести, на которые, впрочем, есть, заготовлен Норой ответ: "яженевиновата".

В самом деле, а если б арестовали ее? Если б она умерла? Ведь как-то бы там без нее устроилось. Этим она пытается заглушить, одурманить совесть, которая только вяло отругивается расхожими формулами: "Но пока ты еще жива. И в запас тебя никто не уволил". А Нора твердит свое: "яженевиновата" и ропщет: "отстань, я устала, устала!", но вдруг зажигается злостью: "от этой подлой необходимости, которую я обязана осознать, от жизни!", но тут же и осекается: "дети. Бедные дети. Прощайте".

В субботу вечером, когда свет уже был погашен и многие спали, Нора уютно устроившись в своей ямке и мчась куда-то под мерное постукиванье колес, неожиданно вспомнила, что сегодня — день рождения ее старой доброй подруги Юли. Тотчас два голоса в ней завели привычную перебранку: "Ну и что, меня нет", — произнес голос той, что ехала в поезде. "Врешь!" — сварливо ответила та, что осталась в прошлом. "Земное больше меня не касается", — заявила первая. "Дезертир!" — совсем уже неуверенно куснула вторая. И, возможно, именно потому, что голос, некогда такой властный, теперь тушевался и пасовал, Нора решительно поднялась с кровати и вышла в тихий и темный уже по-вечернему коридор. Только вдали, за ширмой, где сидела и что-то писала сестра, слабо светилась настольная лампа.

Подойдя и встав за спиной у сестры, которая, конечно, и не подумала к ней повернуться, Нора спросила:

— Можно от вас позвонить?

— Нельзя, — сказала сестра, продолжая писать.

Рядом на плите что-то яростно булькало и позвякивало в хромированном автоклаве. Норе был виден лишь краешек розовой нежной щеки, ушко с нарядной голубенькой клипсой да золотая туманность подсвеченных лампой волос из-под крахмальной, напоминающей убор монахини шапочки. И то ли монашеский колпачок, то ли невинная детскость этой суровой владычицы автоклавов и шприцев все же подтолкнули Нору сделать попытку ее смягчить.

— Понимаете, — начала она, — я только что вспомнила, что сегодня у очень близкого и дорогого мне человека...

— Нельзя, — перебила сестра.

— Да я две минутки, честное слово.

— Нельзя, — повторила та, все так же не отрывая пера от бумаги.

(Что там строчила юная хамка с прозрачным, сверкающим облачком надо лбом и висками, с этим нимбом святой?)

Нора продолжала стоять, точно ее пригвоздили к полу, и сестра, наконец, обернулась. Круглые, широко расставленные глаза, крутые скулы, вздернутый нос, большой, презрительно сложенный рот — все могло быть прелестно, а было уродливо. Если верно, что каждый похож на какое-нибудь животное, то в эту минуту на Нору глядела рысь.

— Марш, марш в палату, больная! Не терплю, чтоб стояли у меня за спиной. Кто вас знает, еще тукнете по башке!

Нора не нашлась, что ответить, и отступила за ширму, в темный коридора. Так ей, кретинке, и надо. Разве не глупостью было вообразить, будто за стены больницы не проникает наружная жизнь? Негде спрятаться от нее, никуда не уехать. "Кто вас знает, еще тукнете по башке". Это же нужно придумать!

Их разговор, как видно, слышал больной, поступивший три дня назад и до сих пор лежащий в коридоре на раскладушке. Тот самый, которому нянька шваркнула тазик. Нора

уже успела приметить этого человека. Она в нем чувствовала что-то необычайное. Худощавый, седой, в очках, с черными, бархатными, совершенно косыми глазами — один, как говорится, на вас, другой — на Арзамас, но полными доброты и к вам, и к чему-то неведомому и дальнему, подразумеваемому под "Арзамасом" — человек этот странным своим взглядом, казалось, обнимал, обволакивал целый мир.

Иногда он раскладывал на табуретке замысловатый пасьянс, а чаще всего — просто тихо лежал, улыбаясь каждому проходящему, одинаково ласково, что больным, что профессору, что санитарке. Однажды Нора его увидела во время приступа боли — настоящий мертвец, бледный, с заострившимся носом, с закрытыми веками (очки крепко сжимал в кулаке с побелевшими косточками), но губы, дрожа и подергиваясь, все-таки силились сложиться в улыбку.

И вот человек этот вдруг сказал:

— Не огорчайтесь, на лестнице есть телефон-автомат.

— Да-а? — протянула она. — Я не знала... И нужна ведь монетка, а у меня...

— Возьмите, пожалуйста. Я вам приготовил.

Он в темноте протянул руку, и у Норы в ладони очутилась горячая, будто из пламени вынутая монетка.

— У вас жар? — спросила она.

— Нет, нет, ничего, — сказал он. — Идите, звоните.

— У вас жар, — повторила Нора. — Я позову сестру.

— Ну что вы, не надо, мне хорошо. Сейчас совсем хорошо, поверьте. — И добавил после молчания: — Прекрасно, что мы не видим друг друга.

Нора, не двигаясь, стояла перед ним в полутьме коридора, только слабо серела подушка, временами взблескивали очки да денежка, точно крохотный талисман, пекла ей ладонь.

— Кто вы? — спросила она.

— Потом, — мягко ответил он. — Сегодня не надо. Вы разве не чувствуете?

— Да, — прошептала Нора. — Спасибо.

— Если угодно, — сказал он, когда она, как сомнамбула, двинулась прочь, — завтра, или в любой другой день, подойдите ко мне, я вам погадаю.

— Что?! — она даже споткнулась и замерла.

Потом она вышла на гулко пустую, освещенную синей лампочкой лестницу и увидела на стене телефон. Опустила монетку, набрала две первые цифры и вдруг поняла, что не хочет, не может расстаться с денежкой. Нажав на рычаг, она ее вынула и крадучись вернулась в палату. И так и уснула, держа талисман в руке.

ЖЕЛЕЗНАЯ КОМЕНДАНТША

Солнце сквозь тонкую занавеску нажарило ей голову. Двухкопеечная монета валялась на одеяле, ярко сверкая в желтом луче. "Вчера было что-то хорошее", — смутно припомнилось ей. Но некогда было обдумывать. И Нора, как заклинание, повторила вчерашнее слово: "потом".

Сегодня к ней обещал приехать Илья. Она и сама не знала, хотелось ли ей откровенного с ним разговора — один на один, с глазу на глаз — или просто отвлечься, рассеяться, поболтать ни о чем.

Было время, когда ни злого, ни доброго — ничего она не могла без Ильи прочувствовать до конца: ни книжке порадоваться, ни устраситься политической новости, ни съесть в свое удовольствие яблоко, ни насладиться купанием. Бежала к мужу, делилась: съешь половинку, не хочу без тебя, объясни, растолкуй, послушай. И всякая радость вырастала вдвое, и всякое горе вдвое же делалось легче.

Не то, чтобы Нора во всем соглашалась с Ильей, бывало, что спорила (иной раз даже до слез), но важно было немедля узнать, сопоставить суждение свое и его. Вместе — только бы вместе! — большего в жизни не надо.

Однако все реже случалось им быть заодно. Да и что толку спрашивать, коль скоро ей наперед известен ответ! Не в силу его заурядности — Илья и сейчас умел огорошить каким-нибудь неожиданным вывертом мысли, — а потому, что знала: даже и выверт этот будет до крайности ей неприятен.

Пошли они как-то с сыном прогуляться к оврагу. Антон, держа родителей за руки, шагал между ними и без умолку лопотал, а они, погруженные каждый в свою думу, рассеянно, лишь междометиями, откликались на его болтовню. Как вдруг, одновременно повернув головы, оба заговорили. Илья сказал: "Чего было, собственно, ждать от этого чужака — объевшегося рифмами всезнайки?" А Нора сказала: "Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте". И умолкли, окинув друг друга сердитым взглядом.

Увы, мысли их до сих пор, как видно, текли в одном русле, но — в разные стороны.

Ребенок притих, испугавшись внезапной, словно от невидимой искры вспыхнувшей ссоры. И тогда, повинясь как бы наитию свыше, он тихонечко потянул родителей за руки, соединил их, сцепил, а сам отошел назад. "Ах ты наш добрый гений!" — воскликнул Илья, поймал свободной рукой смущенного сына и так, спотыкаясь в сумраке елей о корни лесной тропы, скользя по рыжей подстилке из прошлогодних игл, они уже весело дошли до оврага, где еще долго стояли на бровке и слушали сочное, выпуклое, как звук выключателя, щелканье соловья.

Конечно, если ничего дорогого и важного не касаться, ей могло еще изредка быть с Ильей хорошо. Но сегодня недостижимо и это. Слишком была она переполнена новыми впечатлениями. Задаром их расплескивать — обидно, а бережно перелить — не удастся. Они с Ильей давно перестали быть теми сообщающимися сосудами, в которых в мгновение ока устанавливается одинаковый уровень, а история с Настей и вовсе уже герметически (хотя, быть может, не навсегда) закупорила тонкую трубку, соединявшую прежде эти сосуды.

Нора не покривила душой, сказав, что с Настей не было скотства. Пожалуй, что с ней, единственной на всем свете.

Они знали ее много лет, еще с Омска. В доме-коммуне постройки двадцатых годов, с просторными, как танцкласс, но дымными кухнями, с их узкой, точно трамвай, комнатой, где вдоль стены тянулась поленица мелко наколотых дров —

предмет их особенной гордости, наряду с урбанистическим ("чистый Марке", — похвалялись они) пейзажем в окошке: река с баржами и мост, — в этом доме Настя была комендантом.

То было в начале войны, и стриженная под мальчика, с серыми, в ободке коротких черных ресниц, какими-то суриковскими глазами, в черной гимнастерке, лихо, чуть набекрень надетой кубанке, в страшных подшитых валенках и с кондукторской сумкой через плечо — она походила на партизанку.

Войдя к ним впервые и сразу, еще от двери, бросив наметанный взгляд на поленицу, на которую был накинута тулуп, Настя сказала:

— К завтраму чтоб не было.

— Садитесь, прошу вас, — с любезностью петербуржца придвинул ей стул Илья.

— Некогда мне рассиживаться, — сурово отрезала Настя. — Ясно? К завтраму чтоб не было. Приду проверю. Бывайте здоровы, — и удалилась.

Она сдержала свое обещание и назавтра пришла. Илья, конечно, и не подумал убрать поленицу. Да и куда ее уберешь? В доме-коммуне, где кухни топились дровами, сараи не были предусмотрены. К тому же поленица украшала военное их жилище: тулуп мехом наружу превращал ее в нечто вроде тахты.

— Ну? — грозно нахмурилась Настя. — Продолжаете нарушать?

Она была очень красива в эту минуту, даже величественна. Несмотря на свои тридцать лет, которые в те времена казались Норе старушечьим возрастом. Несмотря на морщинки на бледном лобастом лице, на дурацкую шапку и огромные валенки, с которых упали на пол лепехи снега. Глаза ее холодные и безумно сверкали светлым огнем.

— Простите, как ваше имя-отчество? — вежливо осведомился Илья.

— А вы не подлизывайтесь! Настя меня зовут. И все.

Илью понесло.

— Настенька, дорогая, вы бы присели. Нора, угости нас, по-

жалуйста, чаем... Настя, ну что вы, ей-Богу, ломаетесь, точно вяземский пряник! Это вам не к лицу. Учтите, я — человек с комсомольской закваской, и меня от всяких цирлих-манирлих просто воротит с души. Ты ведь тоже, конечно, была комсомолкой, — словно по вдохновению выпалил он. — По глазам, по ухваткам вижу! Намыкалась в детстве, наголодалась? В тридцатых, небось, раскулачивала? Я про тебя, сестренка, все знаю, все чувствую, кому, как не нам, друг друга понять?

Илья вначале играл, насмехался, юродствовал, но чем дальше, тем искреннее входил в свою роль.

— Вообще-то да, вы меня правильно поняли, в тридцатых я комсомолила, активисткой была на селе, но теперь-то я член нашей партии, — сказала она угрюмо.

Однако, секунду помедлив, сняла кубанку и нерешительно опустилась на стул.

Как ни странно, она оробела, эта железная комендантша. Прихлебывая из блюдечка чай, грызя сахар и скромно кладя на клеенку постепенно уменьшающийся кусочек, который она из приличия так до конца и не съела, Настя, развесив уши, слушала витийствующего Илью. А у него уже на глазах закипали слезы и голос дрожал, прерывался, когда он рассказывал о гражданской войне, о Дравич, которая "своими нежными ручками..." и так далее, а еще — о некоем желторотом чоновце Коле, — Нора прежде о нем не слыхивала, — которому он, Илья, уступил перед боем любимую девушку, чтобы тот не погиб невинным младенцем, но, к счастью, парень вернулся живой, "А девушка?" — вскрикнула Нора. "Что девушка, что? Она в операции не участвовала!" — "Да, но она человек, как ты мог ее у с т у п и т ь?" — "Жена у вас, видно, мадонна", — не скрывая презрения, заметила Настя, "Мадонна, мадонна" — подтвердил оскорбленный Илья, ведь он так гордился своим благородным поступком.

Что касается дров, то о них уже больше не поминали, и Настя с те пор нет-нет да заглянет на огонек, но чаще заживала в рабочее время, когда Нора была на службе. О ее посещениях она узнавала лишь по тетрадкам, валявшимся на столе у Ильи и сплошь исписанным цитатами из Ленина-

Сталина, из Горького и Роллана, а также (и главным образом) чудовищными стихами примерно такого рода:

**"Я буду, как красное знамя,
Трепаться на сильном ветру,
Пока с коммунизма врагами
не покончу и не умру".**

Или — посвященное труженицам тыла:

**"Везете воз на благо фронта,
А если у кого беда,
Вы с Женсоветом поделитесь —
Протянут руку вам всегда".**

Потом они с Настей расстались на долгие годы, пока однажды она, уже после войны, неведомо какими путями, не разыскала Илью в Тернополе. Густо пошли письма, трогательные, любовные, с цитатами и стихами, Илья ей тоже что-то писал, длинное, нежное, проповедническое, не раз заезжал к ней в Киев, где она теперь поселилась, их связывала горячая, странная дружба, вызывающая невольное уважение Норы.

Да, Настя имела права на Илью, честно выстрадав их за годы разлуки. И все же, увидев в окно, что муж идет не один, а с детьми, Нора подумала: "вот и прекрасно".

ПРИРОДА

Все получилось, однако, не так, как она ожидала.

— Мамуля, — сказала Тата. — Мамуля, моя дорогая.

— Ты что это? — Нора дрожащей рукой поправила дочери волосы. — Что ты выдумываешь?

Антон вцепился ей в локоть.

— Ма, я тебе землянику собрал, — и протянул букетик с цветами и ягодами. — Черт, самая лучшая потерялась... Правда же, Татка, скажи! Здесь была красная-красная, даже длинная... Ч-черт!

— Не ругайся, малыш. Бог с ней, я тебе верю.

— Дети очень готовились, — улыбнулся Илья. — Вскочили чуть свет. А тетя Домна нажарила тебе пирожков. Попробуй.

— С гриба-ами! — сказал Антон.

Все вместе они пошли по аллейке, встречаясь и разминаясь с группами больных и гостей. Все теневые скамеечки были заняты. Тогда они забрались в кусты, на газон, и сели в пыльную и заплеванную траву.

— Ты как тут — освоилась? — спросил Илья.

— Да, да, — ответила Нора.

И по ее беглому, дробному "да-да" Илья понял, что на этой теме можно не задерживаться. Он только осведомился, осматривал ли ее врач, и сразу заговорил о другом:

— Знаешь, о чем я думал последнее время? О природе...

— О чем, о чем?

— О природе. Тебя это удивляет?.. Вернее, о том, что русский мужик до обидного тесно связан с природой, с той первобытной средой, к которой относятся всякие там буреломы, грозы, гнилые болота с кикиморами, непролазная грязь на дорогах... Человек на святой Руси, — продолжал Илья, — тысячу лет жил с природой один на один. Даже когда отсиживался от мороза в избе, студеной ветер все равно проникал в щели, изба к утру выстывала, вынуждая ехать в лес по дровишки и разжигать в печи дымные осиновые поленья. От случайной улыбки солнца или дождей зависело все — хлеб для семьи, корма для Буренки, словом, жизнь. Не так ли?..

Нора послушно кивнула.

— А что он знал, бедолага? Цвелью покрытые омуты, бодливый бык да хрипящий от злости цепной Полкан — вот детство крестьянского сына... Потом одинокая старость посреди выюг и осенней слякоти. Как в песне поется: "По будням там дождь, дождь и по праздникам дождь". А отсюда и пьянство — до беспамяतства и непременно с надрывом, с воплями и гроханьем сапожищами об пол, и драки стенка на стенку, и темные страсти... Разве только одни господа, все эти Пушкины, Тютчевы, Феты любовались красотами первозданной природы. Зато крепостным их было не до красот! Да, уж простите, не до красот! Они потихоньку да полегоньку, исподволь изучали природу, как изучают коварного недруга, зверя, котрый, того и гляди, прыгнет и вспорет брюхо рогами... И вот, читая в журналах сочинения наших, так называемых "дере-

венщиков", со всеми их поэтическими "пахло мятой и чабрецом" (как помянет про этот самый чабрец — так и знай, обскурант, ретроград, а по сути дела — барчонок!), невольно подумаешь: какую же надо иметь толстокожесть, чтобы писать — о, конечно, с оглядкой, намеками, а то как бы еще не лишили теплой уборной, — будто русскому мужику, извечному мученику, илоту, от рождения втопанному в коровий навоз, хорошо, мол, и так, без вмешательства внешних сил — без Советов, без партии, без колхозов, будто он, в отличие от нас, горожан, находит какую-то прелесть в своем жалком, сиром существовании! Ну скажи, не позор приукрашивать то, что так верно и точно названо "идиотизмом деревенской жизни", скажи — не позор?

Илья был взволнован. Нора слушала мужа, любясь его скульптурной позой — сильные руки с закатанными рукавами белой рубашки обхватывают колени, голова и спина откинута, желтоватая кожа, натянутая на скулах и сократовских шишках высокого лба, отликает латунью. У Ильи талант убеждения, увещевания. В речах его правда так сплетается с домыслами, с незаметными логическими натяжками, что Нора годами освобождалась от их прельстительной магии. Но сейчас она ни во что не хочет вникать. Как соринки, попавшие в глаз, застыят свет его фразы про "господ Пушкины, Тютчевы, Фетов", про "вмешательство внешних сил" у нее бы нашлось, что на них возразить, но она сморгнула эти соринки и промолчала.

Тени листьев пятнали лица детей, всю их семейную группу, такую тесную, спаянную, отдельную от этого мира отверженных, прокаженных, Норе так нужно было хотя бы на час от него обособиться, что она уткнулась в плечо Ильи, закрыла глаза и, кажется, даже уснула. И увидела странный полет стрекоз, как они повиснув, словно на ниточке, подрагивают слюдяными прозрачными крылышками, затем неожиданно острый рывок — и снова подрагиванье, и этот их выпученный изумрудный фасеточный глаз, увидела восковые кувшинки и тихое их свечение на темной поверхности озера ("Штольц" — вдруг всплыло его название из той, позабытой жизни, из

Луги, из детства), и ощутила гладкость резиновых гибких стеблей, и тот удивительно мягкий толчок в ладонь, когда они отрываются там в глубине, у самого дна, и почуяла запах сосновых шишек от вечернего самовара, когда еще только входишь в калитку с букетом обвисших кувшинок в руке, а сизый дымок уже стелется над росистой травой, предвещая мирное чаепитие на веранде, и приезд папы из Ленинграда с последним поездом, а возможно, вкуснейшую пенку от брусничного варенья на блюдечке...

— Ма-ма, ты где? — тихо шепнула Тата.

— На лоне природы, — улынувшись ответила Нора и открыла глаза.

— Ого, — засмеялся Илья. — Дуэль.

— Нет, нет, — испугалась она. — Это я так... Извини.

— Уж не вообразила ли ты, будто я не люблю природу? —

Илья похлопал ее по плечу. Он был настроен сегодня очень миролюбиво. — А счастье стоять на палубе быстроходного катера? А шагать по тайге среди корабельных сосен? А нагнуться, как тот председатель колхоза — помнишь? — и увидеть зеленый пушок ржаных всходов на шестьдесят второй параллели северной широты? Я люблю это все — и нежный пушок, и сосны, и Обь, — но не абсолютно, не как самоценные "вещи в себе", а как то, что должно и обязательно будет служить людям. Чаадаев однажды сказал, что придется все создавать заново — вплоть до почвы под ногами, вплоть до воздуха для дыхания! Природу следует изучать с дотошностью русского мужика, который говорит, например: "На Евдокию курочка не напилась — быть протяжной весне", и прочее в том же духе. Вот это дело, это я понимаю! Еще старик Гегель писал: "Корова умнее агностика", она, мол, не рассуждает, познаваема трава или нет, а съедает ее и тем самым доказывает, что она не только познаваема, но и полезна!

Он снова увлекся, очки его слепо блестели на солнце.

Никто и опомниться не успел, как время свидания истекло. Тата, прощаясь с Норой, шепнула: "Какая-то ерунда... Расстаемся, а так ни о чем не поговорили".

ВОЛШБА

А в понедельник — едва умылись, прибрались на тумбочках, кто успел улечься на койку, а кто и нет, как уже натолкалось, набежало в палату "белое духовенство" — важное, окутанное мистической тайной, только не кресты висят на груди, а фонендоскопы.

Крошка Цахес, профессор, и не виден за мощными спинами ассистентов, лишь дискант его доносится из этой непротолченной трубы. Крахмальные, а впрочем, не слишком чистые, в кровавых брызгах, халаты добрались до Норы в последнюю очередь.

— Новенькая? — пискнул профессор.

— Да, — сказала Елена Ароновна.

— Что?

— Тумор молочной железы.

— Ваше мнение?

— Терция.

— Когда на стол?

— Да тянуть не хочу.

— Разденьтесь, милочка.

Потыкал, намял, кивнул Елене Ароновне: "Согласен, коллега", и белый вихрь умчался.

Анализы крови — на сахар, на протромбин, суточная моча, рентген того и сего, зубной врач, глазник, горловик — только к вечеру Нора опомнилась от этих "аттракционов". Почти не заметила, как наступила среда, и в специальном кресле увезли на операцию полусонную от укола Паню.

Того человека, что лежал в коридоре на раскладушке, куда-то перевели, и след его потерялся. Но в четверг вечером, проведив до ворот Илью и возвращаясь "домой" (так она мысленно называла теперь палату), Нора встретила его на аллее — уродливая, скрюченная фигура в полосатой пижаме. Он ей улыбнулся своей доброй улыбкой, явно не узнавая.

— Здравствуйте, — поклонилась Нора.

— Это вы? — спросил он.

Невозможно, казалось бы, улыбаться лучше, добрее, чем он улыбался всем, каждому человеку, любому лицу, попавшему в поле его зрения. Быть может, эта улыбка тем и была хороша, что не имела определенного адреса, а выражала суть его отношения к миру: кроткое сострадание и готовность принять, вобрать в себя чужую беду. При этом жалость не таила в себе гордыни, той бесовской гордыни, которой не чужды иные честолюбивые доброхоты. Напротив, он словно искалительно и печально винился перед людьми в собственной, с болью сознаваемой им греховности.

Но все же прекрасная эта улыбка, казалось, еще просветлела, когда Нора ответила: "Я".

— Вон вы какая, — сказал он.

— Какая?

— Милая. И — знаете, что я скажу — когда-нибудь вас погубит ваша интеллигентность.

Она удивилась почти как в тот раз, когда он предложил погадать ей... И с этой минуты их разговор (они медленно пошли по аллейке, удаляясь от больничного корпуса) нет-нет прерывался долгими паузами, до краев наполненными ее изумлением.

— Увы, — сказала она, — гораздо раньше меня погубит нечто другое.

— Не надо, вам не идет фанфаронство.

— Но это правда...

— Правды о себе не знает никто, один Бог.

— Вы тоже не знаете?

— Я долго думал, что да, и как же горько ошибся!

— Вы не устали, может быть, сядем? — предложила она.

— Спасибо... Вот вы в тот раз спросили, кто я, так если угодно, могу рассказать вам одну историю... Мою историю расплаты за самомнение.

— У вас? Самомнение?

— Страшное. Вы не торопитесь? Нет? Тогда слушайте. Я постараюсь быть кратким.

Он помолчал, улыбнулся и начал:

— Вырос я в Бухаресте. Отец у меня румын, из горной части страны, с Карпат, а мама — еврейка. Они были очень разные люди: он — упрямый и грубый крестьянин, хоть и выучился с грехом пополам на судью, она — изящная барышня, образованная, со знанием языков, блондинка, красавица писаная. Вам не странно, что я все это рассказываю? Вдруг, ни с того, ни с сего... Вцепился в вас и...

— Странно. Ужасно странно, — создалась Нора. — Но я благодарна вам... Говорите, прошу вас.

Он кивнул и прикрыл глаза.

— Была у мамы привычка: тряхнет головой, шпильки дождиком на пол так и запрыгают, забренчат, прическа — тяжелый-тяжелый ком червонного золота — лениво раскрутится и, будто нехотя, шлеп с затылка на шею... А она рассмеется. Как наша мама смеялась! Нос сморщит, слезы ручьем, ресницы склеются в стрелки — ну, Саския!

— Как вы помните свою мать...

— Помню... Разве я ее помню? Помнишь то, что можно забыть... Да. И был у меня близнец. Такой на меня похожий, что все вечно путали нас, одна мама чуяла разницу, о которой тогда я не мог и подозревать, лишь видел, что она не одинаково нас жалеет и любит, а каждого на свой лад. Но мы-то чувствовали себя одним существом, мы оба и мама, все трое мы были одно существо, и когда она заболела — она долго болела, сердцем, а потом уже ясно стало, что скоро умрет, — мы с братом дали друг другу клятву: если это случится... словом, мы с ним решили себя убить.

— Сколько ж вам было лет?

— Тринадцать... Она лежала в больнице, и мы даже ночью не оставляли ее, и то я, то брат сидели, вцепившись ей в руку, потому что однажды мама сказала: "Не бросайте, держите меня до конца, тогда мне не будет так страшно", — и мы держали.

— Но как же она... Ведь вы были дети... Это жестоко, нет?

— О, что вы, несколько! Поймите, мы были одно существо! И брат дежурил, когда она умирала, а я угадал это — точно, минута в минуту — помчался в больницу, но не успел, и мы разминулись...

— С кем?

— С братом... Когда я, рыдая, припелся назад, у дома толпился народ, стояла карета, отца, отчаянно отбивавшегося, сводили с крыльца, а в его кабинете лежал на ковре застрелившийся брат.

— О, Господи, что это?

— Что? Ничего. Он сказал отцу, что мама скончалась, сорвал со стены пистолет и сделал то, что хотел. Как мы решили. Отец впал в буйное помешательство, разбил два окна и кричал, пока не сбежались соседи...

— А вы?

— Я?.. Как видите... Сажу перед вами. Остался жить, как самый последний подлец.

Рассказывая, он не переставал улыбаться. Под конец ей даже пришло в голову, что у него контрактура мышц. Да и сама история казалась почти нереальной. Только тихий голос и, как ни странно, улыбка заставляли верить, что все это — правда... Внезапно он содрогнулся.

— Вам холодно?

— Нет. Дайте руку, я посмотрю ваши линии.

— Вы хиромант?!

— Увлекаю еще в гимназии, потом бросил... О-о! Вы будете долго жить, я вам обещаю... И вот еще: вы ведь пишете, да? Вы скоро напишете дивный рассказ, дивный!

Он опустил ее руку, но не отдал совсем и умолк. В сумерках едва различались его черты. Хотя лицо его было повернуто к ней, Нора не понимала, куда он смотрит. Одним глазом — бархатно-черным, как будто на нее, другим, в котором был яркий блеск — на закат, горевший меж кронами темных деревьев.

— Рассказ про девочку, собаку и утку, — вдруг сказал он.

— Утку? Какую утку?

— Не знаю. Я только чувствую, нет, вижу — так же ясно, как вас, что с уткой связано что-то зловещее... Да и с собакой.

По голосу слышно было — он улыбался. Нора подумала: "Сумасшедший".

— Нет, я нормальный, правда, — тихо сказал он. — Не бойтесь, — и опустил ее руку. — Вы напишете этот рассказ здесь. Прямо в больнице. Про девочку, про собаку и утку, — и опять содрогнулся. — Завтра ветрено будет. Смотрите, какой закат.. А моя история еще не окончена, я вам как-нибудь ее доскажу.

— Потом, — прошептала она.

Он засмеялся.

— А вы тогда не звонили, я знаю.

— Послушайте, как вас зовут?

— Аурелиу, — сказал он.

ЖРИ, ЧТО ДАЮТ

Круговерть анализов улеглась на завтрашний день, и Елена Ароновна, подойдя к Норе в конце работы, спросила:

— Вы, надеюсь, не суеверны?

— Нет, — ответила Нора и покраснела, вспомнив вчерашние чудеса. — А что?

— Да собираюсь назначить вам операцию на понедельник, тринадцатое.

— Прекрасно, — кивнула Нора, и Елена Ароновна отошла.

Короткий их разговор резко, как утопающего за волосы, выдернул Нору из того состояния ошеломленности, в которое она была ввергнута этим странным косым человеком — не то ясновидцем, не то шарлатаном, а скорее всего — сумасшедшим. Бог его знает, кто он. Чудак — это уж точно. Но время ли предаваться чудачествам — сейчас, на пороге смерти, когда столько еще не обдумано ею, не понято, не решено...

Норе вспомнился старик Сергиевский, вернее, то, как она рассказала о нем Илье, давно, еще в Омске: "Дожить до семидесяти и так и не подготовиться внутренне к смерти! Ведь столько трепета, страха, затравленности — даже больно было смотреть на него... Неужели нельзя запастись достоинством, ну хоть к смертному своему часу?" Тогда-то Илья и взглянул на нее впервые с одобрителем любопытством. Нет, что за безмозглая пигалица была она в свои семнадцать лет! Сколь-

ко злого высокомерия таило в себе ее замечание!.. А что она знала в те времена о жизни и смерти? Лишь жонглировала страшным смыслом этих понятий, как китаец тарелками на арене. А ради кого изощрялась? Перед кем выкомаривала? Перед неизвестным ей, стройным мужчиной в очках, что, стоя спиной к окну, курил козью ножку и с угловатой красотью вырисовывался на его фоне. И вот она предала Сергиевского, который, когда она приехала в Ленинград поступать в институт, принял ее в свой дом, как родную, у которого всю предвоенную зиму она спала на диване в столовой — мрачновато-бюргерской, старомодной, с темной, мореного дуба, готических линий мебелью, с портретами Баха, Гайдна, Глюка на стенах, оклеенных коричневыми, тоже под дуб обоями. Предала милого, доброго старика, который надтреснутым голосом пел ей оперы Вагнера, не глядя на партитуру и сам себе дирижируя руками в крупных веснушках, трогательно уча ее слушать и слышать музыку, который — единственный из всех ленинградских друзей их семьи — не отвернулся от мамы после ареста отца, — почему она это сделала? А просто, чтобы понравиться тому человеку, продемонстрировать перед ним свою исключительность, звериным девичьим чутьем угадав, что именно будет ему по вкусу. И не ошиблась. С того самого дня и начался их безумный, молниеносный роман, приведший в ужас всех ее близких.

А вот теперь и она, как тогда Сергиевский, стоит перед той же последней чертой, но запаслась ли она достоинством? Не так ли, как он, трепещет, не так ли затравленно ищет, за что уцепиться душой...

Предложенное ее новым знакомым, этим юродивым Аурелиу, которого даже мысленно было неловко звать этим именем (вроде как женщину или цветок), казалось ей слишком уж примитивным: "Будете долго жить", "Скоро напишете дивный рассказ" (Что за бред? Какая собака, какая утка!) — это все детские утешеньца. Да и хочет ли она долго жить? И что значит — долго? Понять бы — зачем? Понять бы — что было раньше? Жила ли она вообще? Что считать жизнью? А отсюда — и что для нее будет смерть? Переход из небытия в небытие?

Вот те стрекозы с фасеточными глазами, и та веранда в Луге, и запах стелющегося по-над травой дымка — то была жизнь, она это чувствовала всем своим существом. И еще тот повесившийся... Вернее, не сам он, лежавший в гусиной травке под деревом, чуть в стороне от дороги, по которой Нора с мамой и крестной, возвращаясь на дачу из города, шли ранним утром со станции, — нет, даже не он, весь скрюченный, маленький, в драных штанах, похожий на старую тряпичную куклу, а тот, другой человек, с портфелем, который их обогнал, но, заметив удавленника, круто свернул с дороги, подошел к нему деловой походкой и, спокойно раздвинув зевак, дотронулся до веревки на шее и удалился, помахивая портфелем. "Что это он?" — в страхе спросила Нора. "Примета такая, — сказала нехотя мама. — Говорят, это к счастью". — "А ты? Ты бы могла?" — "Я? Нет", — ответила мама, скривившись, как от зубной боли. "А почему? Почему?" — "Потому что это нехорошо". — "Что нехорошо? Что он умер, а ты... а ты..." — она не умела выразить свое чувство. "Да, — кивнула мама, — он бедный, несчастный, а я как будто пользуюсь этим..." — "Ну, хватит", — одернула крестная. Она не любила говорить о печальном. (Это была веселая румяная женщина, горбоносая, с голубыми глазами, с ослепительно белой улыбкой — мужа ее, дядю Зигу, Сигизмунда Люциановича, инженера лесного хозяйства, расстреляли в тридцать седьмом, а крестную, как жену шпиона, отправили в лагерь, где ей, бедной, наверно, пришлось, если не онеметь, то научиться говорить о печальном.)

Так вот, этот случай, и тот человек с портфелем... Что это было за впечатление? И почему оно вошло в ее жизнь, стало частью ее настоящего, невыдуманного существования? Или другая история... Это было в Анапе. Как тот их сосед в галифе и майке вошел к ним во двор и у нее на глазах в упор застрелил Волчка из ружья, а Нора в каком-то затемнении бросилась на того человека и дубасила кулаками по его жидкому, мягкому, словно большая медуза, вываливающемуся из галифе животу... Что содержится в этих воспоминаниях? Почему они внедрились ей в самую плоть, в каждую кле-

точку ее естества, превратились, как писали в XIX веке, в ее "состав" и с кровяными шариками переливаются по ее жилам, омывая сердце и мозг, почему?

Кстати, собака... Вот же он, этот пес! А может быть, поискать — так найдется и утка? О, Господи... Нора испуганно оглянулась: была ведь и утка. Хохлатая, с красным глазом... Как он узнал? Но это — потом, потом. Не упустить бы мысль.

Нора всегда считала, что прожила богатую жизнь. Полную впечатлений. Ханты-Мансийск, болота, тайга, ханты в малицах, речушки в заламах, старухи и малые дети с трубками у костра. А бурундук с глазами, как черный стеклярус? А та охотница с незаживающей раной в щеке — след медвежьих когтей, — с которой она познакомилась в Нахрачинской бане, в парилке? А гнус, тучи гнуса, про который с таким уныньем сказал участковый в Казыме: "Урони платок — улетит с мошкой, не поймаешь!", тот замученный, заезженный участковый, у которого транспорт — лодка на гребях, а площадь надзора — "как есть цела Франция"?.. А после была еще Украина, Западная, с бандеровцами, и — вот даже что она видела! — оперативники выезжают в село на облаву, стоят в кузове с автоматами, за машинами тянется пыльный шлейф... А после была Каховка, порталные краны на эстакаде, пять Эйфелевых башен, пять лебедей, и "наш бронепоезд", но нет, однако, не бронепоезд из песни, а эшелон с Гулькевичской галькой, укладываемой в обратные фильтры, пробы которой они отбирали из всей полусотни думпкаров, и толпы ликующего народа, целые гроздья людей на стрелах кранов и экскаваторов, когда закрывали проран, и брызги и пена усмиряемого Днепра — да мало ли что еще было? Сколько судеб вокруг, сколько всяческих приключений с нею самой и с другими — разве, в конечном счете, не прекрасную прожила она жизнь?

Но что-то мешало признать ее подлинной. Может быть, то, что она ее наблюдала как бы со стороны? Так нет же ведь, нет! Никто ее не неволил, когда она с рыбаками тянула мокрую тетиву, от которой горят и вспухают ладони, и чавкала в вязкой прибрежной няше, зачерпывая ледяную черную

воду за голяшки высоких броден, — ну, положим, это была немножко игра, для своего удовольствия, так же, как стертые чуть не до крови ноги, когда она двадцать верст проскакала на потной лошади, без седла, за решившим над ней подшутить председателем сельсовета. Но тонула она в Оби, когда перевернулась калданка, уже ведь без дураков, и в Великих Гаях ее обстреляли тоже не ради смеха, и в лепной мастерской она вкалывала на совесть, так что пот бежал по хребту и мутилось в глазах. И ела в рабочей столовке комплексные обеды, в просторечии — "жечедэ" ("жри, что дают"), и бегала по морозу в резиновых сапогах, а в войну — в тех стеганых самоделках, какие обычно вдевали в рыжие чуни, отлитые на Омском шинном заводе и выменянные на барахолке за водочные талоны, и сама торговала, зорко следя за милиционером, то чаем, отмеривая его ложечкой, то стеклом для керосиновых ламп, и так же, как вся страна, морила клопов и вычесывала обмакнутым в керосин частым гребнем вшей, и рвала на пеленки старые простыни, экономя и скаредничая, отчего потом ножки младенца выпрастывались и синели в неотопленной комнате...

Все она знала, видела, все со всеми прошла — так почему же это не настоящая жизнь? Нора может гордиться: она жила жизнью народа, всегда понимала людей, и они понимали ее.

Когда ей теперь случалось рассказывать иным московским знакомым истории с глянцем сибирской, тернопольской или каховской экзотики, она видела, как у слушателей от любопытства разгорались глаза, и кто-то, не то жалея ее, не то восхищаясь, обязательно говорил: "Да-а, хватили вы лиха..." А она усмехалась, зная, что это лишь малая часть, верхушка, а главного — того, что скрыто под глянцем, что было о б - щ и м для всех, для нее и для тех, кто из скромности полагает, будто прожил в сравнении с нею благополучную жизнь, — того-то как раз и не выразить, не поведать. Не потому, что опасно, а потому, что мало кому под силу сознаться даже себе не то что в нечестности, а в спасительном нежелании видеть, слышать и знать — то есть в том, что прожита не своя, а чужая, "дядина" жизнь, взятая напрокат.

Но почему же уж так, "напрокат"? (Нора пыталась сопротивляться). А потому, отвечала она себе, что тоже спасалась неведением, глухотой, слепотой. Видела, слышала, знала лишь то, что положено, что велели. А если что-то из "неположенного" проникало под черепную коробку и к сердцу — о, как легко, как быстро она забывала об этом! Про утку, к примеру. Про то, как топили, сталкивая с плашкоута, привязанного бечевой за лодыжку молодого сектанта. Про калмыков, набитых, как сельди в бочку, в трюм парохода. Про хлеб, который она — да, да, не кто-нибудь, а она, — помогла подчистую (на семена, и то не оставили) вывезти в госпоставку из колхоза "Червонный маяк"...

Как удавалось это забыть? Очень просто. На то существуют до смешного неприятные клише: "лет рубят — щепки летят", "государственная необходимость", "великая цель" и так далее. Их власть была непреоборима.

Но почему же детские впечатления, хоть и совсем заурядные, кажутся ей единственно подлинными? Да потому, вероятно, что реакция на них была подлинной, не навязанной сверху, не по клише. Все и всегда должны оставаться собой — вот мудрость жизни. Только собой и никем другим. Ведь про них и "ником" тогда уж не скажешь. Скажешь — "ничем".

КУМ КОРОЛЮ

— Паня, голубушка, вам ничего не надо?

— О-ох, все нутро горит... Помираю...

— Я вам марлечкой губы смочу.

— О-ох, хорошо...

Она лежала в послеоперационной палате, с воспаленным лицом, в жару. Над койкой висела табличка: "День третий". Напоминание сестрам.

— Больно было? — спросила Нора.

— На столе-то? О-ох... На столе ничего. Я заснула. А вот как в себя пришла... Не приведи Господь... Чего с людьми делают, ироды! О-ох... Мало я в жизни страдала... И скажи, оттяпали-

то всего-ничего, малепусенький ведь кусочек, а как переломана вся... О-ох... Да еще моча не идет, катетер вставляют... Задели, видать мочеточник, коновалы проклятые... О-ох!

— Поправитесь, Паня, первые дни всегда тяжело. Скоро поить начнут. Все наладится. Потерпите.

— А я не терплю? К этому мы привычные, Нора... Сейчас то чего? Сейчас мы — кум королю. Живем по-людски: стиральную машину купили, телевизор, ковер на стену... Красота ковер, двести рублей отдали. С энтим, с абс... с абс... С абсракным узором... Немецкий. А смолоду — намыкалась вволю... О-ох! Марлечку приложи опять, во рте пересохло... Думаешь, я из простых? Я ведь, девка, не из простых! Батька, чай, учителем был в селе. Книжек перечитал — прямо тонну... Энто я неученая, ни бэ, ни мэ, ни кукареку, одним словом, — Нюшка, а он культурный был человек, партийный... В коллективизации участие принимал... И вот как-то раз... О-ох, тошно мне! Переверни-ка подушку, мокрая вся, с марлечки натекло... Ну, спасибо. О-ох, помираю... Чего я там толковала? Ага! А как-то пришли, говорю, звать его на собрание, да пока он портянки наворачивал, кто-сь возьми одну книгу-то с этажерки, а из нее бумажка на пол и высклизни... О-ох! А бумажка — портрет Суворова. Командир был такой при царе, слышала? Потом-то признали его, а в те поры не жаловали... Богатый был, что ли? Ну, в общем, не знаю... Только батьку, и дня не прошло, загребли в воронок, и с концом...

— Паня, не надо, вам вредно... В другой раз мне расскажете!

— Э, девка, другого-то разу, может, не будет, ты слушай... Как с нами мамка билась одна, с пятерыми, энто ужас зеленый. Мало, не сдохли. Колоски собирали, картошку померзлую ночью копали в колхозном поле — тем пробавлялися. Ну и, конечно, застучали нас, под Указ подвели... Если так рассудить, и не мамку даже поймали — Степку, братишку, да что с него взять, голопузый еще, малолеток... И загремела мамка наша в Сибирь... О-ох! Как вспомню, Нора, я тогда уже большенькая была... Про отца-то вроде сквозь сон. А энто — как сейчас вижу! Осень, дождина, такая дождина была — не пой-

мешь, откуда и льет, не то с неба, не то с земли, сплошняком, да серое, да густое, как ополоски... А тут мамку из дому тащут, а она не идет, голосит, каблуками уперлась в порог — ни туды, ни сюды, закидывается назад, как припадочная, они ее матюгают, руки заламывают, а мы воем, знай, а мы воем... О-ох!

— Не плачьте, Паня, голубушка, температура подскочит. Дайте, я вам губы смочу... Не надо, родная моя, успокойтесь.

— А я что? Просто обидно стало... С этой житухи разве ж будет организм здоровый?.. Как прежде бабки говаривали: не тужи, а то вошь нападет... Нынче вошей нема, гигиена кругом, зато опухоля народ донимают!

— Не вернулась мать из Сибири?

— Где-е! Наскрозь больная была — и по-женски, и так... А Суворов... Еще до войны у нас в клубе кино про его крутили... Как услышала, побегла прямо без памяти, дай, думаю, погляжу на этого супостата... О-ох! А оно — старичок вполне аккуратный, с турками воевал... Никак я, Нора, в голову не возьму, за что ж они батьку мово сгубили? Такой уж был большевик, такой преданный... О-ох, неважно мне, девка, о-ох плохо чувствую... Сейчас бы компотику чашечку, из холодильника бы... О-ох!

ИСТЕРИКА

Успокоив, утешив Паню, убаюкав, почти усыпив ее ласковыми словами, Нора вернулась в палату.

— Что она, как? — спросила Иоганна Карловна.

— Плохо, — ответила Нора. — Пить просит, возбуждена.

— Да как же не плохо, — вступила Роза, сверкая агатовыми глазами, — полбрюха разворотили, сколько всякой хурды-мурды в ведро повыбрасывали, а оно ведь все нужное человеку, или нет, как вы думаете?

— Есть и лишнее, — сказала Вера Георгиевна, которая терпеть не могла безответственной болтовни, видя в ней посягательство на государственные устои. Все, что ни делалось — за

пределами ли больницы, или в ее стенах, — казалось ей нерушимо-правильным.

— Здрассьте! — на всякий случай заспорила Томка. Она, собственно, не знала, что возразить, только чувствовала ненавистную ей охранительную тенденцию.

— Вот и "здрассьте" тебе! Не смыслишь — не говори. К примеру, аппендикс — не лишний, а? То-то. Много несовершенного есть в природе, и наука призвана эти ошибочки исправлять, а наши замечательные врачи...

— Между прочим, — подняла голову, оторвавшись от своего Монтеस्कье, Аэлита, — я где-то читала, что аппендикс вовсе нелишний, а железа внутренней секреции.

— Ага? Съели? — обрадовалась нахальная Томка. — Внутренние секреты! А они кому ни попадя отрезают аппендицит, как все равно корешок от морковки! Калечут людей, паразиты.

— Томка, Томка, — возмутилась даже Иоганна Карловна. — Какие ты глупости мелешь! И, главное, абсолютно не к месту. Аппендикс удаляют при воспалении, перитонит может быть, понимаешь? Воспаление брюшины. А у Пани дело другое: опухоль. Не то, что кусочка, клеточки раковой нельзя оставлять, иначе операция бесполезна. Уже через год...

— Да ладно вам, Карловна, — в сердцах перебила Томка, — это я Вере Георгиевне возражаю. Прямо с души воротит! Положение женщин, все кругом замечательно, нигде никаких недостатков! Тьфу!

— Прекрати агитацию! — взвизгнула Вера Георгиевна, но вдруг, прерывисто задышав и словно махнув рукой на свое человеческое — да что там! — даже номенклатурное достоинство, она зарыдала. И так безутешно, так горько, что все враз умолкли.

Спрятав лицо в ладони, она качалась из стороны в сторону и плакала, плакала...

— Вера Георгиевна, милочка, перестаньте, — сказала Иоганна Карловна. — Что это вас разобрало? Успокойтесь, пожалуйста. Слышите?

Но теперь уже плакали все. Томка всхлипывала, уткнувшись в подушку. Аля, опустив книжку до полу, молча лила

блестящие мелкие слезы, которые быстро, неестественно быстро текли одна за другой вдоль нежных розовых щек. Роза-татарка, ни дать ни взять китайский божок, скрестив на кровати ноги и растянув по-ребячьи расшлепанные, толстые губы, закатывалась, точно обиженное дитя. Берта, которая все это время ела вареную курицу, продолжала обглаживать ножку, сотрясаясь всем своим рыхлым телом. Даже баба Надя, невозмутимо спокойная баба Надя, и та как-то странно всхлипнула и зашептала: "Святой Боже, святой крепкий, помилуй мя!"

Нора, чувствуя, что и у нее подступает к горлу комок, переглянулась с Иоганной Карловной.

— Истерика, — сказала та просто. — Сейчас попытаюсь их вразумить. Да и вам не мешает послушать... Вы меня поняли? Да, да, да! — Женщины, между тем, уже стали неистовствовать, вскрикивая и закатывая глаза. — Ну так вот. Во время войны я работала в госпитале, в Казахстане... — Она говорила ровно, — ни тихо, ни громко, но старательно отчеканивая каждое слово. — В основном, у нас были ранения, в голову, а значит, — много слепых. И как-то, в мое дежурство, — слышите женщины? — один молодой солдатик повздорил с сестрой, разнервничался, сорвал с глаз повязку и завопил: "А-а, не вижу, ничо не вижу, слепо-ой!" Поймите, Нора, не оглоушишь ведь сразу парня, особенно молодого: у тебя, мол, пустые глазницы! И мы обманывали, тянули, а люди надеялись — может, хоть двадцать, хоть десять процентов зрения им постепенно вернут... Итак, он сорвал повязку, — да прекрати ты, Роза, не вой! — стал шарить по тумбочке, хватать с нее разные склянки, швырять на пол, кричать, бесноваться. А истерика — она заразительна. Заплакали, заорали и остальные. — Вам ясно, Берта? — Сдирают, разматывают бинты, колотятся лбами о стенку, опрокинули стол... Тут примчалась сестра, уговаривает — никакого внимания. Кто-то в нее запустил графин, еле удрала. Будит меня: "Иоганна Карловна, помогите, госпиталь разнесут!" Я вошла к ним в палату да ка-ак гаркну: "А ну замолчите, мерзавцы, так и так вашу мать, р-расстреляю на месте!" И как бочонок масла на волны. Даже чудно: утих-

ли в момент. — Умница, Аля, вытри-ка носик... Легли, кто плачет, кто извиняется. Мол, сами не понимаем, как вышло, сейчас, мол, все приберем. В палате — ну, что-то неопишное: на полу осколки стекла, салфетки валяются с тумбочек, лужи кругом, вонища, судна расплесканы... А я упала с размаху на стул и сижу. Руки-ноги дрожат, душа в пятках. И не так мой мат меня напугал, как слово "мерзавцы", да еще — "расстреляю"! И жалко мальчишек несчастных, и люблю я их — нико-го на свете так не любила, как их в ту минуту...

Женщины больше не плакали, слушали, изредка судорожно вздыхая. Потом поднялись одна за другой и угрюмо пошли умываться.

— Я ведь чего тогда так обомлела? — тихо сказала Иоганна Карловна, когда в палате остались лишь Нора и баба Надя. — Кто я была? Административно-ссылная, немка Поволжья. А русских солдат обозвала мерзавцами, грозила расстрелом... Спасибо, сестра не слышала, а мальчишки — ни один на меня не стукнул, даже сильнее зауважали... Ну, а женщины наши... Отчего, вы думаете, расплакалась Вера Георгиевна? Вся из себя она честная, вся, от макушки до пят, привержена общему делу, и вот же не пощадило ее! Вместе с Томкой вынуждена болеть... Тяжело. А прочих что разобрало? Тут ведь плакать не принято. В особенности, на людях. Да коли сдалась уж Вера Георгиевна, им, простым смертным, спасения нет... Именно это подумала каждая. Как ни скрывай от себя — ка-пут.

АРКАН ИЗ ПЕСКА

Давно уже Нора не ожидала Илью с таким нетерпением, как в то воскресное утро, накануне своей операции. Он был человек из другого, нормального мира, "из-за ограды". Там люди все-таки изредка радуются... Сколько чудесных дней они знали с Ильей! Вместе откроют утром глаза — и засмеются. Он скажет: "Ничего на свете нет лучше женщины, начинающей день с улыбки!" И вот они вскакивают с постели, что-

нибудь быстро едят и куда-то бегут. Иногда это лес с нагретыми сосновыми иглами, которые набиваются в босоножки и так забавно щекочут ступни. Иногда — почти пустой кинотеатр, возня ребятишек в первых рядах, пронзительный свист в момент поцелуев, и рука Ильи, сжимающая в темноте ее руку. А иногда — просто-напросто деловая поездка в редакцию, и по дороге в метро Ильи, держась за никелированный поручень, учит ее: "Скажи ему так и так". — "А что, если он..." — пугается Нора. "Никаких если! Главное, не теряйся. Иди, как большая, смотри ему в рожу гордо и весело, а я буду ждать внизу". И после леса, редакции или кино радость не блекнет, и длится, длится нескончаемый день, полный добра и смеха. Все это есть, существует там, за оградой. Здесь — нет.

Здесь втягивают ее в свою безысходность, в свой хоро-вод. "Ты наша, ты наша!" — словно бы утверждают они.

Когда Роза во время прогулки в то утро взяла ее под руку, она содрогнулась и высвободилась. Словно та могла ее заразить.

И тотчас вспомнился Норе давний английский фильм. Исторический, про королей. Все исчезло из памяти, кроме одной сцены. Возлюбленный героини умирает от черной оспы. Он лежит с завязанными глазами. Она заходит к нему проститься. Он говорит, что любит ее и молит о поцелуе. Она тоже любит его. Но эта просьба приводит ее в смятение. Секунду поколебавшись, она обмакивает в чашу с водой два пальца и прикладывает к его губам. Он уверен, что она оказала ему милосердие... Что было дальше, Нора забыла. Но эти два пальца ее потрясли.

Она поспешно обняла свою спутницу.

— Розочка, Расскажи о себе, — попросила она.

— Что рассказывать, Нора? Вообще-то мне в жизни везло. Здесь у нас многие жалуются... Все им не так. А я всегда счастливой была, — ответила Роза даже с каким-то вызовом. — Родителей я не помню своих, сирота, воспитывалась в детдоме. Чего надо? Кормили, поили, чистенько одевали. И любили меня. А детдом на пригорке стоял, из окон пойма видна, река, чуть дальше — бараний лоб, орешник по склонам, кудря-

вый-кудрявый... Встанешь пораньше, выглянешь, а над лугом туман пластается, хорошо! Да меня и кавалерами Бог не обидел, на морду я ничего, конфеты дарили, ухаживали красиво. И специальность есть неплохая — маляр, в колерах разбираюсь, дутиков (пузыри такие, по-нашему, "дутики") я никогда не позволю, не то, что иные прочие, работу сроду мою не активируют, с Доски почета не слажу... А то, что взамуж не вышла, так я переборчива больно была, да и разве ж я перестарок? Тридцати еще нет. Ну, пишет один из армии, я от него свой возраст не скрыла, сразу создалась, он отписал: "За чем мне знать твои годы, главное — человек!" Так-то бы все ладно, Нора, да вот заболела...

— Розочка, ты вчера плакала — почему? Эмбихин вот тебе дают, рассосались ведь вроде опухоли на шее, под мышками?

— Как будто поменьше стали, что правда, то правда. Мне что тяжело, Нора? Бабы уж очень вредные: чужое горе — после обеда, всем на тебя наплевать. А я к тому непривычная. Меня и в детдоме гладили по головке, и в тресте у нас, несмотря что характер имею настырный, люди ко мне с уважением. Кого в президиум? Габибулину. Кому премия? Габибулиной. А тут дождись-ка доброго слова — красный снег скорей выпадет.

— Ну что ты, Розочка, обижаешься? Больные, несчастные женщины.

— Верно, верно... И все ж таки тяжело. Хочешь, открою секрет? Никто отсюда не выйдет, Нора. А ведь каждая вьет аркан из песка... Надеемся, дуры. Аркан вьем. Да только он из песка.

Не зная, что ей ответить, Нора молчала. Было жаркое утро. Больные, гулявшие по дорожкам, изнемогали в теплых халатах. Однако многие были веселы, оживленно беседовали, смеялись. "И что же — никто отсюда не выйдет? Так-таки и никто?" — вдруг помертвела Нора. А вот Аурелиу считает иначе. Он сумел бы, пожалуй, утешить Розу. "Будете долго жить". Глупо, но тем-то и хорошо.

Она прожила, говорит, счастливую жизнь. Ничто ее не коснулось. Ни гонения, ни аресты, ни раскулачивание. Ее выби-

рали в президиумы, давали квартальные премии. Словом, гладили по головке, и она никому дурного не делала. Жила себе и жила. Для нее пластался в пойме туман, курчавился лес на холме, для нее летали стрекозы. Всегда. Без всякого перерыва. И слова Аурелиу легко и просто, как планирующий атласный кленовый листок, легли бы ей на душу. А может, так и следует жить, как Роза, — не мудрствуя лукаво? И Аурелиу пытался в тот вечер вернуть Нору в детство, к утерянной подлинности?.. Да, но он ведь еще сказал: "Напишете дивный рассказ". А рассказ-то про девочку, собаку и утку.

Розе, впрочем, не надо писать рассказ. Ей надо жить.

— Дай-ка свою ладонь, — быстро сказала Нора.

— Чего?

— Ладонь... Ага, — понесло ее вдохновение. — У тебя прекрасная линия жизни. Длинная, ясная. Смотри, нигде не пересекается, только маленькой черточкой — это и есть болезнь. Она очень скоро пройдет... Ты выйдешь отсюда. Клянусь!

— А замуж? — робко спросила Роза.

— Замуж? Сейчас... О, какой холм Меркурия!.. Даже и дети будут — согни-ка еще раз мизинец... Двое.

Глаза у Розы черные, как агат, блеснули слезой.

— Честно? — шепнула она.

— Честно, — твердо ответила Нора.

И тут мимо них, как нарочно, прошел Аурелиу. Он поздоровался, улыбнулся, потом, заметив в ее руке ладонь Розы, чуть вздрогнул, но ничего не сказал.

— Простите, можно вас на минутку? — справившись со смущением, окликнула его Нора. — Взгляните, ведь правда, она будет долго жить? И выйдет замуж, родит двоих ребятишек?

Он подошел, будто нехотя поднес ладонь Розы к глазам, согнул ее, разогнул и, наконец, произнес:

— Да, правда.

— Ну, видишь? — азартно воскликнула Нора. — Уж этому человеку можешь верить, он знает! — Но в тот же миг нечаянно подловила прячущийся за полуприкрытыми веками странный косой взгляд, обнимавший ее и Розу. Взгляд был полон печали.

Роза, к счастью, ничего не заметила. Широкие татарские скулы ее залило смуглым румянцем. И только теперь стало ясно, как эта красивая, диковатая девушка обычно бывала бледна.

— Я пойду, хорошо? — сказала она и поспешно ушла.

Ей, конечно, хотелось побыть одной. Власть пережить, просмаковать свою радость. А Нора вдруг взъерепенилась.

— Неужели, — сердито сказала она, — вы и впрямь хотите меня убедить, будто можете что-то предсказывать? Ерунда это все. Не верю.

Аурелиу стоял перед ней, понурившись, как провинившийся гимназист. Его плечи были опущены, и весь он ей показался сейчас неказистым, хлипким подростком.

— Не презирайте меня, — наконец, сказал он. — Мне больно.

— О, Господи, — пробормотала она. — Вы так меня удивляете! Скажите, Роза умрет? Вы это прочли по ее ладони?

— Я ничего не прочел... Но я чувствую... — сказал он тоскливо. — Вот вы раздражаетесь на меня... А чем же я виноват, если чувствую?

И он еще перед нею оправдывался! Нора молчала.

— Ну, идите, встречайте мужа, — Аурелиу улыбнулся. — Не стойте, как пень! И не надо себя так ужасно казнить.

Она взглянула на него исподлобья. Он улыбался чуть-чуть насмешливо.

— Про вашего мужа я не почувствовал, нет. Я его просто увидел... Это ведь он идет за оградой, не правда ли?

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

— Илюшечка, родненький!

Она успела к нему подбежать как раз в тот момент, когда он вышел из проходной.

— Ишь, задыхнулась, — он обнял ее за плечи, поцеловал. — Ты чего, а?

— Люблю тебя, — скороговоркой сказала она.

— Смотри-ка! Что это с нами такое? Дрожишь, лисий хвост?

Они шли обнявшись по асфальтовому двору, прямо к моргу, мимо больничного корпуса.

— Да нет, не особенно. Это я так... Просто очень тебя ждала.

— Донимают разговорами про болезни?

— Не в том дело. Хотя... И это. И вообще. Жалко всех... Я подумала — ты придешь, поговорим про детей. Сама не знаю, про что. Про другое. Про улицу.

— Не понял.

— Про то, что осталось там, — мотнула она головой, показав назад, за ворота.

— Ну, мать моя, ты что-то совсем плоха.

— Нет, ничего. Я так. Ты не думай. Скажи, как Антон? Болит у него рука? А Тата? А тетя Домна? Рассказывай. Я все хочу знать. Я куда-то уехала. Это неправильно, это стыдно, — говорила Нора в какой-то горячке, снизу и сбоку заглядывая ему в лицо.

— Сядем?

— Только не здесь! Очень уж мерзко пахнет. Карболкой. И трупами. Чем-то ужасно едким. И сладким.

— Что ты выдумываешь?

— Нет. Ну прошу тебя. Сядем у входа в приемный покой.

— Там солнце.

— Оно скоро уйдет... Ах, какие слова! Ты вслушайся: приемный покой. Чудесно! Садись на кончик скамьи, откинься. И голова твоя будет в тени.

— А ты?

— А я так.

— Может, пойдем на аллею?

— Нет, нет, там народ. А здесь тихо. Приемный покой. Ну, рассказывай.

Она быстро чмокнула его руку, лежавшую у нее на плече.

— Вот если б ты почаще бывала такой! — мгновенно расчувствовался Илья. — Как бы мы с тобой славно жили... Я ведь теленок, у меня характер телячий. Люби меня крепче, а я всегда тебя буду любить. Знаешь, почему так с Настей тогда получилось? Ты разлюбила меня. Я страдал. Я и дня не могу прожить, чтоб меня не любили!

— Я тебя буду любить, — прошептала Нора.

— Ну, и умница. Мне ведь никто не нужен, кроме тебя. Ты моя самая-самая... Завтра приеду, сяду на эту скамью и буду ждать, пока тебе сделают операцию. Хоть до ночи... Знаешь, кто я? Я — твой приемный покой.

Они, как Нора и говорила, теперь уже оба сидели в тени. Двор был пуст. Все больные, все гости сбились в аллее, под сенью деревьев. Изредка гулко отшлепают по асфальту задники чьих-нибудь тапок, и опять тишина.

Нора не понимала, что с ней творится. Почему ей так сладко сегодня слушать Илью? Знает ведь: грош цена его нежностям, хоть они каждый раз и искренни. Илья — златоуст. Нора давно перестала всерьез принимать его заверенья — слишком часто она обжигалась. Но знала она и то, что блаженство — небесное, лютное, несравненное — она никогда не испытывала от чьей-то любви к себе, а лишь от своей — к другому. Да только блаженство это дается недаром. Взамен оно требует в жертву всю твою жизнь.

Как трудно ей было сегодня преступить разделяющую их черту, превозмочь обиду! Но нет, обида — лишь красочка в отношениях близких людей, живительная, отчасти даже необходимая. А вот побороть отчуждение — это как безоружной пройти по ничейной, простреливаемой земле. Спасает одна оголтелость.

И все же — зачем она это сделала? Ответственность, налагаемая любовью, была ей теперь не по силам. Самой бы как-нибудь сохранить человеческий образ... Быть же просто лелеемой женщиной — эту радость, пускай дешевую, суетную, так и так ей познать не дано. Илья органически не способен кого-то лелеять, да и Норе не этого надобно. Счастье без муки ей кажется низменно плотским. Языческим. Что ей действительно нужно, так это — приемный покой. Хоть временно. Хоть ненадолго. Спасибо Илье и на том, что он это понял. Но можно ли верить?

— Что ты так смотришь? Как будто не веришь мне...

Она не ответила. Но Илья и не ждет. Он парит в поднебесье и слышит лишь взмахи собственных крыл.

— Ты помни одно, — сказал он. — Ничто не сможет нас разлучить — ни пространство в тысячу верст, ни кирпичные стены больницы. Потому что мы одинаково понимаем, в чем красота и цель жизни. Мы — единомышленники с тобой, а не просто супруги, какие-то жалкие обыватели. В дни их "свадеб, крестин, похорон" мы умеем плакать над вымыслом, мы...

— А в чем красота и цель жизни? — тихо спросила Нора.

— Что-о? — воскликнул Илья и резко выдернул из-за ее спины свою руку. — Да как ты смеешь? Как можешь кощунствовать в такую минуту?.. Ты же знаешь не хуже меня, чем мы дышим, ради чего живем и топчем эту сахарканную, испохабленную, несчастную землю! Революция — вот смысл существования всякого человека, если только он не превратился в скот. Да, да! Непрерывная, очистительная, святая — до конца, до победы! А ты — ты разве не хочешь добра китайскому кули, или негру с кофейной плантации, или какому-нибудь Тихоновскому Саму?

— О да, безусловно.

— Так разве не стоит для этого жить? В самом деле, не ради же новой шубы или дачи в Малаховке! И не ради самоусовершенствования, как предлагал один знаменитый зачуханный граф! Быть добреньким и гордиться собой посреди смердящего гноища — это ли не фарисейство? Нет, мы ассенизаторы и не боимся запачкать рук... Ну, что ты молчишь? Хочешь остаться чистой? Не выйдет! Мы вам не дадим. Коли всем, так уж всем выгребать помойную яму. И всем пачкаться... А нет — тогда мы враги. Помнишь Джека Алтаузена? Есть у него такие стишата, я твердил их в лагере, когда разбирала тоска:

**"За Чертороем и Десной
Я трижды падал с крутизны,
Чтоб брат качался под сосной
С лицом старинной желтизны.
Нас годы сделали грубей,
Он захрипел, я сел в седло.
И ожерелье голубей
Над ним в лазури протекло..."**

Илья уронил голову на спинку скамьи. Нора молчала. Наконец, он вытащил из кармана платок, вытер глаза под очками, протер и очки, потом громко высморкался.

— Одного я не мог понять: за что был наказан. И ведь не в тридцать седьмом замели, а гораздо раньше, когда, казалось, еще можно бы разобраться, кто враг, а кто свой... Но я, чтобы легче было, придумал себе вину: пускай я сижу за то, что жалел, когда был мальчишкой и маменькиным сыночком, мадам Бовари. Пускай вот за это страдаю, и поделом мне!.. А впрочем, вру. Даже тогда я знал, чем я им не потрафил. Эти перерожденцы давно уже предали революцию, а Коба понял это, учел и купил их всех с потрохами — за пакеты, дачи, лампы и ордена... Я тебе никогда не рассказывал про Авербаха?

— Кто это?

— Ха-ха-ха, дожили! Выросло поколение, не знающее, кто такой Авербах! Леопольд Авербах, а вернее — Ляпа, как его все называли. Да он заправлял всей нашей литературой — этот тип, огнеупорный, как пепельница! Как-то я был у него дома, он долго что-то молот красивое и возвышенное: Достоевский, Переверзев, Бухарин, потом стал демонстрировать мне свою власть. Позвонил в издательство: такую-то книжечку задержать, не пущать, такую-то срочно в набор. И при этом косится: мол, ясно тебе, от кого зависишь, шпендрик несчастный? А повесил телефонную трубку, откинулся к спинке стула и заорал: "Нянь-ка, молока!" Вот, какие они тогда были — мне было с ними не по пути... Однако, и он загремел. Но ничего, ничего. Революция продолжается. На наш с тобой век еще хватит. Коба сдох, Ляпа сгинул, а мы живы!

Он опять подобрел и глядел на нее умиленными сияющими глазами. В чем нельзя было ему отказать — так это в умении жить одухотворенно. Бледнеть от мысли. Забывать о язвенных болях, слушая "Патетическую".

— Да, — вспомнил он, — ты спросила, что дети. Очень славные поросята. Правда, бездельники... Я встаю вместе с солнцем, точнее — с доярками, сажусь писать очерк для "Огонька", тетя Домна тоже с шести часов утра на ногах, стирает, чистит кастрюли, готовит завтрак, они — дрыхнут. А продерут глаза и — шасть на пруд или в лес.

— Не ссорятся? — спросила она.

Сейчас ей было особенно важно, чтобы дети дружили. Кто знает, что ее ждет. И если, как пророчила Роза, она отсюда не выйдет, — дети должны держаться друг друга...

— Бывает, — ответил Илья. — Но я не очень-то им даю расходиться. Сразу команда: Тата, вымой посуду, Антон, садись почитай. И — как шелковые!

— Илюша, — сказала Нора и на мгновение запнулась. Она не была уверена, надо ли говорить, и не смотрела ему в лицо. — Только не думай, что я трушу. Это на всякий случай, мало ли что бывает? Вдруг я умру на столе?.. Ты чуточку подожди и женись. Но очень тебя прошу — не на Насте... Тата уже большая. А вот Антон... Мне не хотелось бы, чтоб он меня позабыл. Или с презрением называл свою мать "мадонной"...

— Что у тебя за идеи? И почему обязательно Настя? Странно, — пожал плечами Илья.

(Продолжение в следующем номере).

Рукопись И. Варламовой поступила в редакцию по каналам Самиздата, и вопрос о ее публикации, естественно, не мог быть согласован с автором.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН "ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

*АВТОБИОГРАФИ ЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ДВУХ КНИГАХ*

"ИЛЛЮЗИИ" и "КРУШЕНИЕ"

Автор — журналист и писатель, в прошлом корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты "Труд", заведующий отделом и специальный корреспондент "Литературной газеты" — рассказывает о своем жизненном пути в Советском Союзе, о преодолении им коммунистической идеологии, о нравах, царящих в советской журналистике и литературе.

Автобиографическое повествование "Покинутая Россия" удостоено второй премии Иерусалимского Университета.

Стоимость каждой из двух книг в Израиле: в магазине — 42 лиры, при одновременной покупке первой и второй книги — 80 лир. При заказе в редакции, соответственно — 36 лир и 68 лир.

Стоимость каждой из двух книг за границей — 3 доллара.

Заказы принимаются по адресу: Улица Нахмани, 62, Тель-Авив, издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

О КНИГЕ ЛЬВА НАВРОЗОВА

Отзывы в печати Соединенных Штатов и Канады

"МИДСТРИМ", один из лучших интеллектуальных журналов Америки: "самое значительное литературное произведение, появившееся из недр Советского Союза за почти шестьдесят лет", "одно из трех или четырех важнейших созданий литературного творчества двадцатого столетия".

"НЬЮ-ЙОРКЕР", ведущий художественно-литературный журнал американской интеллигенции: "Герника остроумия в прозе — личная, гневная, трагичная, веселая".

РОБЕРТ МАССИ в **ХАДАССА** (тираж около одного миллиона): "Читайте эту книгу медленно — вбирайте понемногу все эти повествования, прекрасные и ужасные. Как все великие писатели, Наврозов создал свой собственный мир. И надо время, чтобы мир этот развернулся и объял вас ...эта книга... доказательство того, что то ли в силу игры случая, то ли по таинственному провидению Бога, искра личной гениальности может гореть и не гаснуть даже в таком обществе как Советский Союз".

"ТАЙМЗ-ЮНИОН" — главная газета Олбани, столицы штата Нью-Йорк:

"Это книга многих книг, и поразительно — все книги держатся вместе, варьируясь от тончайшей недосказанности до мощного сарказма. Да, это воспитание читателя, и такое, что ставит под вопрос почти на каждом шагу все, что читатель якобы знает. Великолепная словопись, которая выходит далеко за пределы своей страны, и я лично верю, годы покажут, что она выходит далеко и за пределы своего времени".

СИДНЕЙ ХУК, американский философ, в журнале "ХЬЮМАНИСТ":

"займет место рядом со Стерном и Генри Адамсом, стиль которых книга напоминает. Но она богаче, масштабнее и более захватывающа по содержанию".

Профессор русской литературы **МИХАЛАП** в газете "БИРМИНГЭМ ПАЙЛОТ":

"Обилие идей на первых же страницах приводит в замешательство: именно такова книга **ВОСПИТАНИЕ ЛЕВЫ НАВРОЗОВА**.

Но тот, кто прочтет, несмотря на это замешательство, первые четыре или пять из 72 коротких глав, тот не сможет закрыть книгу и должен будет согласиться с автором **НИКОЛАЙ И АЛЕКСАНДРА**, что "этому произведению суждено стать классикой 20-го века".

"**КИ РЕПОРТЕР**", журнал общества Фи Бета Каппа, объединения всех когда-либо окончивших с отличием американские университеты:

"Эта книга еще более жизненно важна и человечески значительна, чем солженицынский "Архипелаг ГУЛаг".



Лев НАВРОЗОВ

ВОСПИТАНИЕ ЛЕВЫ НАВРОЗОВА

Глава 8

Я еще толстые книги читать не умел, мне читали. Про то, как Диккенс стал потом в такой шляпе и с тросточкой, и все прохожие говорили: разве вы не знаете, что это Диккенс? И еще бы не знать, если он такую книгу написал, и в этой книге сначала о том, как не было молока, я помню это место: молочница громко стучала в дверь и кричала, что больше не даст молока, и тогда я спросил: а масла?

Я спросил, как спрашивают, видя, что мир разъехался у всех на глазах, но никому дела нет, и все пожимают плечами, как бы говоря, что если ты был такой дурак, что в конце света не верил, то кто же виноват?

Для меня жизнь состояла из одной ипостаси, одного алмаза чистой воды, одного естества. Нельзя назвать это счастьем, потому что если несчастья не существует, то и нельзя определить это единственное естество как счастье. Соседская девочка, у которой ноги не ходили, мне не представлялась несчастной, а наоборот, на костылях может ходить, сколько хочешь, а мне-то ведь просить слезно у нее костыли приходилось, и

только немного поучишься, уж где там научиться, как она ходит, а так покостыляешь, еще и во вкус не войдешь, и даже самому неудобно, так это жалко выходит, и пожалуйста, отдавай назад, ее ведь костыли, тут и разговору никакого не может быть. А не ходили бы у меня ноги и имей я свои костыли, и я, может, костылял бы не хуже. Ну не так, как она, конечно, но вполне прилично я бы покостыливал, как говорят, не как профессия, а просто для себя очень даже прилично.

Счастье — естество жизни, единая ипостась ее. Как пели по радио: "На коньках хорошо и в санях хорошо". На ногах хорошо и на костылях хорошо. И вдруг — у мальчика Диккенса нет молока.

— А масла? — И чувствую, голос у меня упал. И лицо у меня все натянуто, воспалено и даже жжет по краям, как от ветра в мороз.

Поля, наша домработница, или же полностью сказать, домашняя работница, похожа на Мону Лизу Джоконду до такой степени, что потом я никогда иначе и не думал, хотя вслух неудобно: "А знаете, у Леонардо да Винчи это ведь наша домработница, много лет у нас была, Поля". Только с Моной Лизой случилось что-то. Раскулачили? Ерунда, да и что за слово такое — раскулачили? Вроде изнасиловали. Я вообще таких слов не знал, да и не пишу никогда, а кто их пишет, тот слов не боится, а кто не боится, так и нечего тогда писать. Просто за Моной Лизой в деревне бегал, то есть ухаживал, вор и грозился ее убить, если она не это самое. Если она не что, это самое? "Если она не выйдет за него замуж", — объясняла мама. Мона Лиза теперь как бы всегда дрожит. И похудела. И улыбка перестала быть кулацкой, как у Леонардо, а скорее, Мона Лиза, то есть Поля, как бы виновато грешит улыбкой, я вижу и сейчас красноватый свет и мокрую глину грех-улыбки, и только в глазах у нее всегда ровный бездонный черный страх, как, впрочем, и у собак.

Тут даже спор произошел. Читает Поля немного лучше меня, но уж как слова выговаривать, это она у меня учится. И я научил ее говорить: "Когда легковверен и молод я был,

младую гречанку я страшно любил". Папа услышал и сказал: "Страстно любил". Может, так тоже говорят: страстно. Мы говорим "матрац", а соседи "матрас". Но я просто слышать не могу: "матрас". Так и это страстно вместо страшно. Как матрац вместо матрац. Страстный матрац. Поля тоже начала спорить. Этот вор ее любил страшно — стращал, грозился убить ее, она и теперь вся как будто всегда дрожит. Но Поля не может спорить. Голосу у нее нет. Только может разве что совсем без голоса:

— А как же, Андрей Петрович, в деревне у нас говорят: "Страсти какие"?

Ну да. Значит "Ужасы какие". Как я теперь это понимаю. Да и на всех западных языках то же самое. Страсти Господни. Страдания.

Голосу у Поли совсем нет. Не говорит, а страдает. Вроде, как страдания. "Саратовские страдания" по радио. Но она голосит их без голоса, и можно голосить без голоса, потому что бывает огонь без пламени, невидимый огонь. Так почему же безголосого голошения быть не может?

— Уж если молока не было, — объясняет мне Поля без голоса, — какое же может быть масло?

Когда она голосила что-нибудь подобное, то есть продуманное, разумное, дельное, она даже шепелявила немного, губы у нее сбивались от напряжения, и глаза мигали.

— Вы, Поля, сельский меланхолик, — говорит папа.

Мой папа русский, а мама еврейка. Я знаю это изречение, как воспитанный в вере символ веры. Меня спрашивают. Я отвечаю, не думая, не слыша, символом. Мой папа русский, а мама еврейка, да придет Царствие Твое. Чуть ли не сорок лет спустя мне знакомая подарила иконку Иверской Божией матери, сама же нерукотворная была у Иверских ворот, я никогда не видел, еще до рождения, "нерукотворную расстреляли", и я думал, что слово грех это от имени Греховых, и отсюда грецкие, грехские орехи, и хотя в остальном Греховы грешили ужасно, то есть все пили и плясали в бесчисленные свои престольные и другие праздники, и страстное-страшное, как грех, шло от них, и пеленки у них всегда, невозможно

к ним войти, орехов-то грехских, грецких (я и сейчас их ем просто потому, что уже все равно, что там, грех или не грех, но вкус-то, конечно, грех это и есть) Греховы, как я сейчас понимаю, не видели не только что от самой Спасской, а с самой-то советской власти. Ведь этот грех, грецкие орехи, мы сами раз-два купили, а где уж Греховым-то?

Так вот, эта ладанка нерукотворной — как держать ее на столе? Не держится. Падает. Ладанка. Ладан. На ладан дышит. Валяется. Только пылится. Я взял ее и поставил в семисвешник, старинного серебра, семейный, у меня в роду раввины, 24 колена, и у жены раввины, левиты, у нее носик точеный, крошечный, женский, от отца, от левитов, я знаю, у дочки Михоэлса был такой носик, хотя, впрочем, пример неудачный, он был на русской дворянке женат, Потоцкие, кажется. И вот увидел у меня на столе ладанку в семисвешнике мой московский друг, бывший американец, борец за справедливость и против угнетения негров, атеист, прогрессист и прекрасный человек, и говорит: "Это — кощунство". "Ну что вы", — говорю. И улыбаюсь этакой жалкой семитской улыбкой, этакой жалкой славянской улыбкой, этакой жалкой американо-европейской улыбкой. А он — серьезно. Мне надоело — за чуть ли не сорок лет. Пожар внутри начинается. А он прекрасный человек. "Простите, — говорю, — но ведь и сам я — кощунство".

В неисповедимой благодати своей Господь создал меня живым кощунством, ублюдком, межеумком. Мой папа русский, а мама еврейка, да придет Царствие Твое. Мой папа русский, и он легкий, он на земле не раскладывается, он, как птица, листик зеленый или солдат, нынче здесь, завтра там, и когда он говорит, что Поля — сельский меланхолик, я знаю, что это легко и смешно, потому что у папы, когда он трезвый, все легко и смешно, он тогда, как листья, летите, летите, мы тоже летим, а о том, когда он не трезвый, я не хочу пока писать, потому что на всю жизнь в меня запало, что не только пьяница, но и просто пьяный — это пифия, бесконечность, гений, и даже недавно, когда я ромом напоил здесь на даче капитана второго ранга, то все равно думаю, вот сейчас ложесны безд-

ны без дна разверзнутся, сейчас Гомер родится, или тот мальчик Федя, про которого Толстой сказал, что он не только говорит, но и пишет, возможно, даже лучше Гомера, лучше меня, Толстого, и уж, конечно, лучше Шекспира, а слушаю капитана второго ранга и трезвею, холодею, коченею — все из "Огонька". Дно в бездне, и на дне "Огонек". Или уж мальчик Федя теперь в "Огоньке" работает?

Когда папа трезвый, он, как листья:

Пусть сосны и ели всю зиму стоят,

В снега и метели, закутавшись, спят.

Смотрите: чуть ли не сорок лет, и все помню.

Их жесткая зелень, как иглы ежа,

Хоть век не желтеет, но век не свежа!

Дальше про то, как начинается осень, и птицы отпели, луга отцвели, но иглы ежа все такие же, а листья, легкое племя, просят буйные ветры сорвать их скорее с докучных ветвей. Сорвите, несите, мы ждать не хотим. И тут папа произносит "л", как летит, и легко ему, словно он умирает, легко мне жить, и дышать мне не больно, и умирать легко, и лететь легко. Сорвите, л-л-летите, мы ждать не хотим.

Л-л-етите, л-л-летите. Мы тоже летим.

Я хочу спросить о том, что если так л-л-легко л-л-лететь, то отчего папа говорит: "Мы тоже летим" как говорят "Все кончено". "Л-л-летите, л-л-летите" он поет, как птица, легче птицы, словно сам летит. А потом вдруг. Как будто он умер. "Мы тоже летим". Но я не спрашиваю, потому что когда я приставал к нему, чтобы он мне объяснил, что же смешного в том, что чиновник хотел съесть блин, но умер от апоплексического удара, он сказал:

"Ты — еврейский рационалист".

Так легко и смешно, как он говорит: "Вы, Поля, сельский меланхолик". Так легко л-л-лететь, и смешно жить, и дышать, и умирать, и не больно.

Я смотрю на Полю и соображаю, как это может быть, что у мальчика Диккенса не было не только молока, но и масла, и вдруг мой еврейский рационализм видит ясный прорыв в умозрении Поли.

"Если не было масла, — я вступаю в прорыв с ледяным торжеством, таким Спинозой, — то как же тогда он, мальчишко Диккенс, ел хлеб-с-маслом?"

Мама роется в шкафу. Как невыразимо на земных скрипках тончайшее, выцветшее в моей памяти от времени, скрипучее, скрипичное арпеджио шкафа, когда открывается зеркальная половинка. Но еще более невыразим мамин голос. Еврейский фальцет? Для посторонних, да. Как для посторонних — русские пьяницы, евреи жадины, а немцы говорят: "Майн либер готт!"

Мой папа пьяница, моя мама жадина, да придет Царствие Твое. Папа легкий на этой земле, а мама собирает, как жадина, книги, все до одного импрессионисты, но я никогда их не видел, потому что они были в хороших обложках, а папа книги в хороших обложках уносит и продает, когда у него запой. Только книги без обложек, и когда страниц в них не хватает, остаются. Барбизонцы остались поэтому, и папа говорит: "Зачем ему импрессионисты? Барбизонцы же лучше". Это обо мне. Моя мама еврейка, а папа русский, да придет Царствие Твое. Моя мама жадина. Она все для папы и для меня. Чтобы я прочел про всех импрессионистов. А папа: "Барбизонцы же лучше".

И зачем, правда, импрессионисты, если все равно л-л-лететь, как листья? И папа говорит опять дивно так, легко мне жить и дышать мне не больно:

— Осень в лесу Фонтенбло.

Мой папа пьяница, моя мама жадина, но мы-то не посторонние.

Как невыразим в земных гармониях еврейский фальцет мамы под небесно-скрипичное арпеджио открываемой зеркальной дверцы шкафа, когда мама услышала краем уха про хлеб-с-маслом у Диккенсов и решила вмешаться.

— Он не ел хлеб-с-маслом, — пропела она. — А у тебя, видишь, есть хлеб-с-маслом!

Это был, извините за литературный штамп, последний удар, и то ли мои слезы были горькие оттого, что не только у Диккенсов молока не было, но не было и хлеба-с-маслом, а я

ведь именно рассчитывал, что уж это-то — нелепость, я-то ведь рационально-еврейски был, как в школьных учебниках по математике говорят, на редукцию ад абсурдум, а оказалось, что этот абсурдум, конец-то света, это-то и есть повседневность. То ли сладкие мои слезы были оттого что мне так хорошо, оттого что я не Диккенс, угораздит же кого родиться Диккенсом.

Но еще, может быть, что как раз до этого я прочел сам агитку мелкой буржуазии "Гадкий утенок". Только это была сказка, а про Диккенса — жизнь, и Диккенс стал потом в такой шляпе и с тросточкой, и все прохожие говорили: разве вы не знаете, что это Диккенс?

С тех пор, как только снова читаем: молочница громко стучала в дверь и кричала, что больше не даст молока, я не могу удержаться, я стараюсь, я готовлю себя всеми силами, потому что сказано: если я буду плакать, то читать снова не будут, но раз — и как лодка отчаливает от берега, как колесо — неподвижно, а потом поехало, я ведь еще не плачу, а уже отчалило, полкруга прошло, не остановишь теперь, да и все равно теперь, а после этого места я в полной безопасности до самого конца почти, когда Диккенс стал такой в шляпе и с тросточкой, и все говорили: разве вы не знаете, что это Диккенс? Но тут уж можно плакать, сколько угодно, ведь это конец самый, а до следующего чтения еще далеко.

Написал же Диккенс такую книгу. Вот вам. Все его, гадкого утенка, обижали, и даже хлеба-с-маслом не было, а он потом написал такую книгу, и теперь все читают и плачут и жалеют, что они его обижали.

И тут мне объяснили, что написал книгу не сам Диккенс, а Чарская. А эта Чарская и чуть ли не сорок лет спустя вроде дьяволицы. Никто ее не видел, и мало кто читал, но обязательно говорят: слезливо-сентиментальные бульварные писания Чарской. А я до сих пор ничего не понимаю. Если не о себе, то о ком же тогда сам Диккенс писал? И зачем называть себя Дэвидом, если ты Чарльз?

У нас тут на даче Вася со своей канализационной машиной приезжает раз в неделю яму выкачивать. Он мне говорит:

"Я тут по соседству у одного писателя тоже работал. Борис Леонидыч. Может, слышали?" А я, как те прохожие, про Дикенса: "Вася, разве вы не знаете?" А он: "Наклепали". Мировая слава. Шутка сказать, на весь мир ославить. "Наклепают так, что и не выберешься", — тихо сообщает мне Вася. — "А вы не верьте. Я-то всю жизнь его знаю. Такого человека не нажить". И начинает. Всю жизнь знает. И я думаю, Господи Боже мой, да вот же, зачем и имя это Живаго, духа живаго не угашайте, когда тут не живаго, не житие, а жизнь, ж-ж-ж, жжет, живот, жито, жид, не нажить, знь, брызнь, брызнется, всей ризницей брызнется, и как з-з-з улетает и как нь, когда нет и слов, только нь.

Воскресений в то время не было, конечно, а были выходные, и только Греховы всегда воскресали: "Воскресенье! Воскресенье!" И в выходной день мы с мамой гуляем, потому что в остальные дни она на службе врачом. "Мамы нет, она на службе". Врачом.

Врач — это важнее сестры, а сестры раньше назывались сестрами милосердия. У меня и открытки есть, представляющие разные картины с надписями вроде "Спокойствие" или "Вражда". Милосердие представлено в виде некой красавицы, без сомнения, сестры милосердия, которая голубит детей.

И вот мы гуляем по все еще булыжной около нас Москве, и хотя булыжник сравнивался с чем угодно, мне же казалось, что ранней весной, со снежком, мокрецей и восхитительной грязью, он похож на гречневую кашу, потому что крупинки в гречневой каше бывают и розоватые, и серые, и коричневые, и Поля говорит безголосым своим голосом, что из всех каш только в гречневой сила, и, может быть, эта каша — как бы крошечные разваренные булыжнички?

Не каждый день — выходной, и я старался всю выжить все из гулянья и, в частности, бежал вперед, а потом останавливался и ждал маму. И так я остановился и повернул голову.

Как могу я понять себя — как можно вспомнить то, что было даже хотя бы и вчера? Воспоминание — это ведь только архив. Ежедневно мы умираем, чтобы утром воскреснуть, даже и не обязательно в Воскресенье Греховых, а остается толь-

ко архив. Иногда я как бы прием такой применяю, вроде скашивания глаз, когда хотят увидеть объемные кубы на паркете, и мне кажется, на мгновение я понял — я вспомнил.

На уровне моих глаз, в холодном, голубоватом, вот уж действительно безжалостном свете ранневесеннего дня, я увидел красные от холода, потрескавшиеся протянутые руки, и они мелко и часто тряслись-тряслись-тряслись.

Это так было понятно. Я был в пальто, называемом весенним. Но был ранневесенний холод. Помню сосульки. Если потеряешь варежки, руки надо засунуть в карманы. Но он не засовывал руки в карманы. Он протягивал их, и они мелко и часто тряслись-тряслись-тряслись.

Затем я поднял глаза. Его лицо, возможно, было крупным, а мне оно казалось огромным, раздутым, оно тоже было красным от холода и тоже дрожало-дрожало-дрожало. Но дело не в этом.

А в том, что оно было совершенно бесстрастно. В течение тридцати лет я думал: это мне казалось. Через тридцать лет я случайно прочел: парализис ажитанс, болезнь Паркинсона, лицо больного напоминает маску.

Но откуда же мне это было знать тогда? Мне его лицо говорило: "Я ничего не прошу, это все равно, вы себе идите, а я тут буду стоять, и пусть руки у меня трясутся-трясутся-трясутся".

Я ждал маму, потому что врач милосерднее даже сестры милосердия, которая голубит детей на открытке.

Я боялся, что она увидит его слишком неожиданно и бросится рыдать и биться головой о булыжную мостовую. В то время как надо его взять домой, накормить, согреть и пригласить. Я сказал поэтому очень тихо: мама, чтобы она посмотрела не сразу, а постепенно и не испугалась.

Она подошла как бы с другой стороны меня, глядя в сторону.

— Пойдем, — сказала она.

— Да посмотри же.

Я был уверен, что не видит.

— Он болен, — тянула она меня за руку. — Это — болезнь.

Если бы она сказала, что он просто так замерз и сняла с себя варежки, потому что мои варежки были бы малы, и наде-ла бы их ему, и сказала бы, что мы сейчас пойдем за извозчи-ком, чтоб привезти его к нам, потому что идти ему холодно, то я бы как-то смирился, попросив его, чтобы он только ни в коем случае никуда не уходил, а то мы приедем, а его нет, и он потеряется. Но она сказала: болезнь.

— Болезнь?

Небо над все еще булыжной около нас Москвой стало, как огненно-белый смерч, когда конец света: слезы не полились, а брызнули у меня из глаз.

— Болезнь?

Я ослеп от ярости.

— Болезнь? Так почему же ты его не лечишь?

Она мне объяснила, что болезнь — неизлечимая, но слова "неизлечимая болезнь" были, как конечная бесконечность или светлая тьма.

Прохожие останавливались и делились своим непроше-ным всеведением по части воспитания.

Она не пыталась обмануть меня. Это было в семье исключе-но. Она просто обращалась к доводам разума. Какой смысл нам тут стоять? Если лечение неизлечимой болезни существу-ет, то только Кроль знает это, и больше никто. Разве я не ви-дел его томищ на полке? Я вспомнил название, которое я прочитывал ежедневно, доведя его чтение до совершенства:

— Вторичное слабоумие после аменции Мейнерта?

Мне показалось, она даже улыбнулась, но это, конечно, было чудовищным подозрением: кто же может улыбаться в такое время? Она объяснила, что вторичное слабоумие — это Топорков. В светлом бумажном переплете. А Кроль рядом — темные томища. Профессор Кроль. Надо идти быстрее домой и звонить Кролю.

Она тянула меня домой, хотя теперь я и сам вдруг прини-мался бежать, чтобы успеть позвонить быстрее Кролю, но Кроль или не Кроль, я чувствовал, что бедствие для меня было, как конец света, больше, чем для нее.

— Я умоляю тебя вылечить его, — я говорил ей, рассчиты-вая особенно на силу слова "умоляю", которое я освоил недавно и которое казалось мне столь же значительным и действенным, как "милосердие" или "аменция Мейнерта". Мои глаза высохли. Папа теперь сказал бы, что я еврейский маньяк.

В общем, мне ведь однажды почти обещали купить косты-ли, чтобы я мог блаженствовать на своих собственных косты-лях, а не одалживаться каждый раз у Нины. И тут я прозрач-но намекнул, что если она вылечит его с Кролем или без Кро-ля, то, собственно говоря, костылей мне и не надо.

Или золотые зубы. Ведь тоже мне однажды обещали, когда я узнал, что они не растут сами, а приобретаются за деньги. И золотых зубов не надо.

Я чувствовал, что так называемые материальные стимулы в данном случае необходимы, и надо, так сказать, ввести в действие все ресурсы.

Мне ничего не надо, только вылечите его, и когда я вспо-минал, что он стоит, и руки у него трясутся-трясутся-трясут-ся, меня охватывал страх, что Кроль этот, сможет ли он, и она мне все говорила, что ведь Кроль, да все эти томища рядом с Топорковым, это ведь все Кроль, да не беги ты так, я тебе говорю, мы успеем, один час не имеет значения, а если не Кроль, то кто же, да, конечно же, Кроль, кто же еще, если не Кроль.

Когда мы пришли домой, я вспомнил его опять, но я заме-тил, что мои слезы мало действуют на нее, или она устала, ведь и конец света может утомить тоже, и тогда я стал смеять-ся, и увидел, что это действует на нее гораздо сильнее.

У меня тяжелая наследственность, потому что папа, когда начинает пить, не может остановиться, да и что папа, когда Оля, мамина старшая сестра, застрелилась. Сидела у окна, смотрела в яблоневый сад и все говорила: "Ах, как хоро-шо!", все изнемогала от красоты, а в столе был револьвер, потому что сестры жили тогда одни, и она все изнемогала, и вдруг выстрел, а мама была в соседней комнате, и прядь у нее побелела. В семнадцать лет.

У меня тяжелая наследственность, как, впрочем, и у всех, и когда я стал смеяться, мама испугалась, и тогда я стал смеяться, что называется до упаду, но в то же время я плакал, потому что я не мог только смеяться.

Глава 31

— Чудесной души человек был Сталин. — Закинув руку, наподобие крыла ангела, за спинку садовой скамьи, гость наш роняет слова.

Давай ронять слова

— Чудесной души человек был Сталин. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Был ли Псаметих II чудесной души человек? В противоположность Псаметику I? Но как современник все же спешу свидетельствовать: чудесной души человек был Сталин. Вот я бы. Да имей я его власть. Господи. Как воображаю, так падаю или, как дым, несусь вверх, тут уж не поймешь — ни верха, ни низа. Впрочем, я бы по порядку. Прежде всего, составил бы список. Вот Анютка Агапова. Из иностранной комиссии. Вы ее не знаете? Счастливый человек — никого не знает. В своем телемском аббатстве. Вдали от безумной толпы. Так вот, Агапова. Я прихожу. "Здравствуй, Анна Алексеевна!" От нее все зависит. Все. "Здравствуй, Анна Алексеевна!" А она, Анютка эта, Нюрка, глаз не подняла. Буркнула. Промычала. Так. В список. И сразу хватить ее три молодца. Кузнецов, Попков и Данилов. Вернуть ее в небытие. А она: "За что?" Какова, а? За что. А помнишь, двадцать два года назад я поздоровался с тобой. "Здравствуй, Анна Алексеевна!" А ты? Буркнула. Промычала. Да ты понимаешь ли теперь, что ты содеяла? Мне — мне, божеству — да что там божеству, единственному существу, живому, живущему, явствующему, потому что кто же еще существует, кроме меня? — ты буркнула. Промычала. Вот почему ты будешь всего лишь отнесена в небытие. Анютки,

Нюрки, Анны нет и не было. Не попадешь ты ни к Богу, ни в рай, ни в дедушкин сарай. "Агапова, Анна Алексеевна!" — позовет тебя Господь. "Такой нет и в помине, Господи", — ответят Кузнецов, Попков и Данилов. Мне даже тяжело думать о наказании или там истреблении. Так думать — значит допускать в тебе преступное, то есть человеческое. Нет, не надо наказаний. Не надо истреблений. Просто зачислить в небытие. По списку. Всех, кто не поздоровался со мной приветливо. Агапову Анну Алексеевну.

Любезный читатель, возможно, помнит, что некий Станин, Сталов, Стапин — или Сталин, именно, кажется, Сталин, грузин, в общем, нацмен, кончил с отличием четырехгодичную школу смелости (с года 1917-го по 1921-ый), и что школа смелости учила двум заветам великого Ленина и тогда еще столь же великого Троцкого. Завет первый: не бойся плеснуть кислотой в лицо товарищу, с которым делишь добычу, ибо это лучший способ избежать опасности того, что товарищ плеснет кислотой в лицо тебе. Завет второй: не будь, как Рожков.

Тут ручаюсь, что любезный читатель спросит с таким дурацким видом: "А кто такой Рожков?"

Вот то-то оно и есть. По партийной знатности, по новодворянскому чину и званию, по положению, как говорят сановники, Рожков был выше Сталина (что, любезный читатель, Сталина-то имя ты помнишь?). А заслужил Рожков забвение лишь тем, что решил малину, шайку — п а р т и ю — оставить. Просто ради частной (честной) жизни. Так бывает. "Я, ребята, вам зла не сделаю, вы только отпустите меня. А от доли своей в добыче нашей — одной шестой части земной тверди, а потом и остальных пяти — я отказываюсь. Сами делите все между собой — и царские ройс-роллсы (а если где кровь детей царя, так ее легко отмыть можно, с мылом, а потом спиртом), и астраханскую паюсную икру во время страшнейшего голода со времен Годунова, и любящих малахитовые каминны оперных див, и все, что добудете вашим ремеслом, то есть грабежом и убийством, а обо всем прочем

я умолчу, раз вы сами признаете только грабеж и убийство за свой благородный труд и удел. Мне ж ничего от вас не надо, и все, что я нажил у вас, я вам оставляю”.

Ну и что? А то, что ни одна душа в мире и не помнит, кто такой был Рожков. Помнят имена мегапреступников — преступников, превзошедших средней руки уголовников по числу преступлений в миллион — мега — раз, а имя того, кто отказался от дележа мегадобычи — одной шестой части земной тверди с видами на остальные пять — исчезло из памяти через год или два.

Удивительный этот Рожков. Нашел на улице власть над миром. И всего-то, что требовалось от него, так это грабить и убивать. Есть, конечно, и секретные спецзадания, но в общем-то, конечно, главное, грабить и убивать. Грабишь, убиваешь, грабишь, убиваешь. Сейчас ведь это дело как поставлено? Сидишь в суши, в тепле, кнопки нажимаешь, в обед в закрытую столовую идешь. А он, нет. Честной (или частной, что ли) жизни захотел. Ну вот, сиди теперь честно в Пскове, снимай там угол частным честным образом.

Да, это так. Великий Ленин не успокоился, пока сам лично, вопреки сопротивлению своих соратников, не сослал Рожкова в Псков. Вот она, награда за честность: ссылка при жизни, забвение при жизни и вечное забвение навсегда.

В часть добычи великого Сталина входило некоторое вновь учрежденное заведение, которое можно назвать крупным министерством. А во всяком крупном министерстве непременно есть семнадцатилетняя девушка, скажем, Наденька Аллилуева, и приятно, что Наденька из хорошей семьи, из своего круга, а не так, неизвестно кто. И, конечно, красавцу-министру Наденька (на шумановское *Wagum*) готова сказать чуть слышное люблю.

А Шуман тут нужен потому, что царства разрушаются и царства созидаются, классы и нации расстреливаются или умерщвляются газом, старая жизнь проклиняется и новая жизнь возглашается, все слова перевертываются и все имена переименовываются, а *Wagum*, и чуть слышное люблю, и министерства, и молодой (нет еще и сорока) красавец-министр, и семнадцатилетняя секретарша остаются.

Красавец-министр? Да неужели ж этот Сталин был такой невозможный красавец? Ну, гениален. Мудр. Остроумен, что куда там Оскар Уайльд. Но уж такой невозможный красавец?

Совершенно невозможный. Уверен в этом. И вот почему. Работал я внештатно в одном московском учреждении, состоявшем из трех человек, поскольку меньше уж быть не может. Число носителей чина должно увеличиваться с понижением чина. Если генерал один, то не может быть так, что и солдат один. Два должно быть солдата, по крайней мере. Так и в этом учреждении: двое было подчиненных. Этот двоичный штат устраивал заговоры против начальника и дружно доносил на него, после чего начальника понижали до рядового работника штата, а одного из двух подчиненных назначали новым начальником. Затем все повторялось снова, и назначали начальником другого подчиненного, против которого начинали заговор двое бывших начальников, ныне подчиненных.

Поэтому, когда я приходил в учреждение, я заставал каждый раз нового начальника, а прежний был уже подчиненным. И когда назначали начальником чрезвычайно полного непыющего, похожего на гиганта-ребенка мужчину, я думал, что в мужской полноте есть красота. А когда его понижали, я думал: "Несчастный. Отечный. Ужас. Женат он? Как его жена выносит?" Когда же назначали вместо него начальником второго из сослуживцев, такого калужского интеллигента в первом поколении, с испытанным лицом, и помню, золотая коронка в глубине рта, я думал: "А красиво, когда мужчина жилистый. И золотая коронка к месту". А когда его понижали, то как-то мнилось, что худоба — скелет, болезнь, смерть, черт знает что, и потом этот нелепый золотой зуб: "Малограмотный, а с золотым зубом". А третий был средней упитанности, и немного уголовник, и сильно пил, и спереди стальные зубы (настоящие, видно, выбили в драке), и все это отдавало красотой или безобразием в зависимости от того, начальствовал ли он над двойным штатом или же был разжалован в одного из двух подчиненных.

А я был внештатный. И я мужчин в большинстве своем не выношу. И что за власть у них была? Наденька же секретарша

в огромном министерстве. И ей семнадцать. И благословен плод лона твоего. И W a r u m. Невозможна была красота министра.

Притом, законный брак. Разумеется, законный брак был переименован, как и все слова. Но за словами-то жизнь. А жизнь та же. Благословен плод лона твоего. И богатство есть богатство, хотя, конечно, оно тоже переименовано в закрытое распределение, особое снабжение и заботу о руководящих кадрах. Зиновьев, например, взял себе царский поезд. И это был милый пустячок. Не надел же он на себя царскую корону. Все бы смеялись: "Еврей, а в царской короне". Но царский поезд — это так, милый пустячок, и такие милые пустячки скрашивают жизнь, даже если они не называются богатством. Всегда есть высшее общество, хотя и оно так не называется. Оно там, где царские поезда — это милые пустячки. И лучше разъезжать на царских поездах в этом высшем обществе, чем, например, голодать, и умирать с голоду, и есть человечину, и все же умирать с голоду, вне этого высшего общества,

А каково было бы, если бы цветущий красавец-министр Сталин жил бы как Рожков в ссылке, снимая угол в Пскове? Представьте себе, Наденька Аллилуева, будучи в Пскове, по ошибке зашла в один из домишек (уж не сорвать ли в саду аленький цветочек?) и увидела в темном углу с т а р и к а . Разумеется, старика: на двадцать два года ее старше, ему ж почти сорок, выглядит он на все пятьдесят, а ей-то семнадцать. Семнадцать. Поставьте пластинку W a r u m. И то ли от темноты, то ли от запаха керосинки с т а р и к показался ей чудисцем безобразным. Маленький страшный грязный нацмен. Желтая кожа. Покатый лоб. Оспа.

Кто он такой? Преступный революционер? Революционный преступник? Контрреволюционный революционер? Революционный контрреволюционер? Все перепуталось. Всех сначала выпустили из тюрем. Теперь вышедшие из тюрем сажают в тюрьмы всех остальных.

А ясно лишь то, что вот он в ссылке снимает жалкий угол в Пскове. Вот это действительность. А все остальное — слова. Мужчины — все себе слова переворачивают, все себе имена

переименовывают. А женщины жизнь чувствуют лонем. Благословен плод лона твоего.

И это чудисце, старик этот, нацмен страшный начинает вроде как за ней ухаживать и пробует ее удержать и просит ее выслушать его.

А русский язык — не его родной. И попробуй, любезный читатель, ухаживать на чужом языке. Ты шутишь, а для нее это не шутки, а непонятные словесные ужимки, подтверждающие неловкость, поползновения, безобразие. Наглый азиат, сальный нацмен, старый развратник. Недаром про него Бог весть что говорят. В гроб пора, а туда же.

— Пустите. Дайте мне выйти. Слышите? Я случайно зашла. Я — Аллилуева. Мой отец — ответственный работник в Москве. С вами знаете, что сделают? Костей не соберете, слышите, вы?

— Надя, да разве вы не помните меня? Я — Сталин. Сталин. Грузинскую мою фамилию вы, конечно, забыли, но Сталин — разве вы не помните?

Действительно, что-то она теперь вспоминает. Станин. Сталов. Стапин. Был такой, а потом исчез. Сослали. Кажется, за пьянство. Награбастал вина из царских подвалов и спился. Или это кто-то другой?

— Но я-то что могу для вас сделать? Отца попросить?

— Надя, да не надо никого ни о чем просить. Я просто хочу вам сказать. Послушайте. Не уходите. Я вам просто хочу сказать. Ведь они, да и ваш отец тоже — это преступники. И я бы мог поделить с ними добычу. Но я отказался. Отказался от самой крупной добычи в истории преступлений. Решил стать честным. Надя, какая была добыча. Шестая часть земной тверди, а потом и весь мир. А я отказался. Надя, да если б это в кино показать, то ведь все бы рыдали, женщин бы в зале отливали водой. Просто это не в кино, а я живой, я угол в Пскове снимаю, с керосинкой, я, чья улыбка очаровала бы Уинстона Черчилля, тринадцатого баронета, прямого потомка первого герцога Мальборо, и как бы итальянцы меня называли — добрый русский Бог? Клянусь, Надя, именно — добрый русский Бог, свет с Востока, создатель на земле древнего

Рима царствия Божьего без конца. Да знаешь ли ты, что сказал обо мне настоятель Кентерберийского собора? Надя, Кентербери венчал пятого ютландского короля Кента и владыки Британии на христианской принцессе, и поэтому в год Господа нашего пятьсот девяносто седьмого святой Августин пришел в Кентербери и крестил англосаксов. И восприемник святого Августина, крестившего англосаксов, нынешний-то настоятель сказал бы обо мне, что я и есть пришедший вторично Спаситель, и кому же, как не ему, знать? И вот, Надя, — есть ли сказка страшнее, чем жизнь? Я, первый красавец на земле, юный сладостный антиной, прекрасный, как свет Бог, сошедший на землю, создатель рая, обращен в чудище безобразное, в пахнущего керосинкой старого нацмена, низкорослого, рябого, с покатым лбом — как страшен лоб мой будет в гробу, если меня похоронят в гробу, а не свалят в яму. Я один, совсем один. Ни друга, ни брата, ни детей. Никого. И ничего. Угла нет своего. Я снимаю угол. Одеяло и то чужое.

А Наденька испугается. Сумасшедший. Из интеллигентов. Сбрэндил. Как много еще горя на свете, несмотря на новую жизнь, и все такое. Главное — выбраться из этой ловушки. Перехитрить этого сумасшедшего. Вот так аленький цветочек.

— Надя, да неужели хоть в улыбке моей... Ведь Уинстон Черчилль, тринадцатый баронет... и я отказался от всего...

Тут чудище заплачет и станет еще безобразнее, потому что плачущий жалеет себя, обращая лицо свое в гримасу жалости к себе, но другим-то что за дело до его жалости к себе?

Наденька подумает о том, не дать ли ему денег, но денег так мало, ведь надо одеваться, надо жить, надо замуж. Благословен плод лона твоего. Warum.

Нет, никто не будет помнить, как его и звали, если он даст слабину, как этот несчастный Рожков. Его товарищи и соберутся, и один из них скажет: "А помнишь, был такой нацмен — Сталин, Сталов, Стапин?" И они будут смеяться, что никто даже имени его не помнит, а их знает, боится и обожает весь мир, ибо им владеть миром. А ему тлеть в безымянной яме.

**Ах, умру я, умру я,
Закопают меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает
И никто не придет...**

Семнадцатилетняя Наденька Аллилуева наверняка не придет. И ничего нельзя сделать, кроме как плеснуть кислоту им в лицо, прежде чем они плеснут ее в лицо ему. Ему владеть миром. Им тлеть в безымянных могилах.

А Наденька Аллилуева? Вот уж, вспомнили. Да ведь владелец мира владеет миллиардом женщин трех тысяч наций. Мир — это его гарем. Аллилуева, Надежда Сергеевна? Да сама она догадается, что, право, надо ей перейти в небытие, перевестись, так сказать, без сохранения стажа и по собственному желанию в министерство вечного покоя, где нет ни плача, ни воздыхания, и уж, конечно, нет цветущих красавцев-министров и чуть слышного люблю семнадцатилетней, и может быть, нет даже шумановского Warum.

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

"ПОРА ПРЕДЧУВСТВИЙ"
(Вторая книга стихов)

Вышла в свет и поступила в продажу в книжные магазины.

Цена книги в Израиле — 30 лир, при заказе почтой — 25 лир.
Стоимость книги за границей — 3,5 доллара (с пересылкой).
Заказы принимаются по адресу: Кирьят-Нордау 95/26, Натания.



Лия ВЛАДИМИРОВА

БУДТО НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

1. ФЕВРАЛЬСКИЙ ЗНОЙ

1

Февральский зной! Февраль — с дождем!
 Так времена перемешались!
 И мы запнулись и смешались,
 И взявшись за руки, идем.

Ну разве февралю пристало
 Июнем стать, полынным днем?
 И — зябко стало. И устала.
 Давай-ка лист перевернем.

2

Кому-нибудь от гордости не спится,
 Кому-нибудь от горького житья.
 А мне, наверно, долго будет сниться
 Надменная отзывчивость твоя.

БУДТО НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

99

3

Ты взял мои пальчики,
 Как восковые,
 И взгляда коснулся,
 Не видя его.
 А я-то, а я
 Недомолвки живые,
 Как воздух, хватаю еще...
 Каково?

4

О нет, не я: безумно чудо,
 Горчайшее из всех чудес, —
 Я так тобой прощенной буду,
 Как будто ó землю — с небес!

Еще захвачена борьбою
 С волненьем, робостью, собой.
 Еще грущу перед тобою...
 А уж отпущен грех любой.

5

Рядом с полем, со влажной пашней,
 Старой яблони хрупкий цвет.
 И глядела себе, вчерашней,
 Я — сегодняшняя — вослед.

Я вчера была безутешна,
 Не отталкивай же руки!
 Да и холодно стать нездешней:
 Слишком губы сейчас горьки.

6

Он явится к зевакам молодым,
Февральский день, мальчишка, ротозей.
А я... Мне ест глаза табачный дым
И мнет мой стих молчание друзей.

Февраль, февраль, порывистый денек,
Играй в снежки со стайкой детворы!
А я... Мне дан мучительный намек,
Что взрослые выходят из игры.

Дотягиваю терпкие глотки —
Пронзительные, чистые утра.
Со мною хмель, мои черновики
И легкая февральская жара.

7

Вина суха, черства, покуда
Она сквозь сердце не прошла.
Но где же мужество — для чуда?
И где же силы — для тепла?

Но ты промолвил (помню, помню!)
Два слова мне наедине, —
И сокрушенной, и бездомней,
И лучезарней стало мне!

8

Февраль, и жара,
И озноб, и смещение
Полдневных событий
И летних имен.
Как будто бы снова

Испуг и смущенье,
И старая сказка
Далеких времен.

Предстанут по-новому
Дом и дорога,
Как будто сквозь радугу.
Как на просвет.
И сердце
Вдруг колкая тронет тревога,
И легкое знанье,
Что Времени — нет.

9

Нет, не Божьим, собственным велением
Память что-то сделала со мною,
Чтобы даже капля оживления
Стала мне пожизненной виною.

Эта радость, горькая, горячая,
От пустячных слов благословенных!
Словно непосильною задачей,
Мучусь этой радостью мгновенной.

Но тепла таинственным свечением
Вся, насквозь, пронизана неволью.
Ведь не страшно это расточение, —
Больно, если вдруг не будет больно!

И цветут мои галлюцинации:
Эти дали, ливни световые!
И томятся душные акации,
И толпятся зимы грозовые!

Июнь 1978, Израиль

II. ПЕРЕД УТРОМ

1

Проходит время стороной,
 О, тоньше тени, зыбче тени я!
 С февральской дымною весной
 Все ночи шепчутся осенние.

Ах!

Только окна отвори:
 С морозным ветром
 пыль горячая.

Две мглы,
 две кручи,
 две зари,
 Две горечи — игрою случая.

Ох,

Этот горб не по плечу,
 Хоть за спиной — тысячелетия.
 И жизнь, как в скобки, заключу
 В свои глухие междометия!

13. 6. 78.

2

Н. и А. Лурье

Будто на пороге перемен,
 Вдруг — порыв, предчувствие простора.
 Крепнет ветер, зреет смена сцен
 В замыслах тревожных режиссера.

Крутит ветер (не видать ни зги!)
 Драмами прощаний и отъездов.
 Все слышнее времени шаги
 Мимо Театрального Подъезда.

Все слышней!.. А зал, как раньше, пуст.
 Занавес опущен, свет погашен.
 Чу! Снежка предутреннего хруст!
 Чу! Горячий запах свежих пашен!

Время созиданья бытия
 Из земного пота, грязи, грима.
 Ветер, ветер, на круги своя!
 Тот же вихрь надежд необоримых!

Снегом припорошена листва.
 Пахнут хмелем пыльные кулисы.
 К горлу подступившие слова
 Замирают на губах актрисы.

Кружат листья в зимнем свете дня,
 Ворохами — годы под ногами,
 Легкий отблеск тайного огня,
 Памяти подавленное пламя!

1. 6. 78.

МАРГАРИТА

1.

Быть может, спутница иная
 (Как знать?) надежнее меня.
 Она — хранительница, знаю...
 А я — виновница огня!

Букет мой желтый влажно-светел,
 Дрожит, как будто дождь пошел.
 Ты эти искорки приметил
 И — стороной не обошел?

Ах, эти цветики и травы
 Разлукой метила весна
 Недаром!

Верности отравой
 Меня вспоила желтизна.

26.6.78.

2.

Я вернусь... душа моя вернется
 Хоть верхом на помеле.
 Тень моя зеленая взметнется
 На заброшенной земле.

Стелется холодный дым пожара
 Теплой мглой по лебеде.
 Радость в сердце, храбрость, злость угара, —
 Где ты, милый? Где ты, где?

И зальюсь я смехом беззаботно,
 Утоплюсь в своих слезах,
 Вся
 своей доверяюсь приворотной
 Горькой зелени в глазах!

Стану я оглядываться дико,
 Стану Мастера искать:

— Здесь я, милый! Милый, погляди-ка!
 Уж устала окликать!

Пусто, тихо! Только дым пожара
 Легкой мглой по лебеде.
 Тает след весеннего угара:
 Где ты, милый? Где я, где?

25.6.78

СТРОФЫ

То Божий знак.
 Хоть говорят в народе,
 Из ничего не может быть огня, —
 А он горит — наперекор природе,
 Без воздуха, без дыма, без меня...

* * *

Ну что ж, судите нас, потомки,
 С другого берега реки
 За то, что ломкие — не громки,
 А громкие — увы! — крепки.

* * *

Я стою с протянутой рукой
 Будто на пороге новой эры.
 Отврати, Господь, мои химеры,
 Возврати мне будущий покой!

Москва, 1971.

Еще не вянет подорожник,
И луч прокалывает тьму,
И вздох, пожизненный острожник,
Из камня рвется... Почему?

* * *

— Пошли нам, Боже, светлых гроз
И щедрых дождиков, — взмолилась.
На землю, горькую от слез,
Скупая капля обронилась.

* * *

Путь далекий к неясному свету
Тленом вымощен,
 скорбью продлен.
Ужасающей ясностью этой
Лихорадочный шаг открылен.

* * *

Почти сорвавшийся вопрос,
И горечь вечера сухого.
И все-таки не пролилось
Всеутоляющее слово!

* * *

И вечный вздох.
 И юность Книги.
Неощутимо прочный свет.
Меняющийся в каждом миге
Непреходящего портрет.

* * *

Толкуя Время вкривь и вкось,
Вослед безвременье косится.
Не своевременны мы врозь,
А вместе, думаю, сторицей.

**Над книгой "Зияющие высоты"
Александра Зиновьева**

К любви, к ее дарам причисли
Бессмертной подлинности дар,
Пронзительную резкость мысли,
Сарказм и сердца тайный жар.

ИЕРУСАЛИМ

Не из камня твой царственный взгляд —
Из печали, из воздуха сложен.
Как он светел, как свят, как тревожен,
Этот Город — как слезы горят!

Давиду Дару

Дай Бог нам в годы безвременья
Прекрасной общности глоток:
Мгновенья
 горний холодок
И теплой вечности мгновенье!

Июнь 1978, Израиль.

И. ГАРИК

НЕ БОЙСЯ, НЕ НАДЕЙСЯ, НЕ ПРОСИ

Злые гении природы
над Россией вьются тучей,
манит их под наши своды
запах выпивки могучий.

* * *

Когда последний рубль пропит,
вдруг мысль пронзает до ботинка,
что дома баба пенелопит,
а за диваном — четвертинка.

* * *

Чтоб дети зря себя не тратили
ни на мечты, ни на попытки,
из всех сосцов отчизны-матери
сочатся крепкие напитки.

* * *

Не мучась совестью нисколько,
живу года в хмельном приятстве;
Господь всеведущ не настолько,
чтобы страдать о нашем блядстве.

* * *

Время тянет в эмиграцию
от российских берегов
удивительную нацию —
— всехних внутренних врагов.

* * *

Каким ни обернется бытие,
которому потворствует познание,
веселие Руси есть питание,
которое влияет на сознание.

* * *

Ни разу не посеяв льна и ржи,
и на цеха косясь неуловимо,
любой интеллигент по сути — жид,
а то, что не обрезан — поправимо.

* * *

Кто умер, кто замкнулся, кто уехал;
брожу один по лесу без деревьев,
и мне не отвечает даже эхо —
— наверно, тоже было из евреев.

Я жил в эпоху коммунальных
квартир, постелей и клевет;
а из ансамблей музыкальных
предпочитал секстет-а-тет.

* * *

Питая к простоте вражду,
подвергнув каждый шаг учету,
мы даже малую нужду
справляем по большому счету.

* * *

Во тьме, зловонной, но тепличной
мы спим и слюним удила,
и лишь жидам безразличны
глухие русские дела.

* * *

Здесь темнее с утра, чем ночью,
здесь преступники — не злодеи,
здесь идеями дышит почва,
и беспочвенны все идеи.

* * *

Цветут развесистые клюквы,
повсюду слава наше царство;
и неслучайно те же буквы
идут на "рабство" и на "барство".

* * *

В супружеских обязанностях есть
одна, довольно тяжкая с годами,
и слава тем удачникам и честь,
которые справляются с ней сами.

* * *

Как жутко слились пролетарии
с крестьянской массой земляной
в одной гигантской канцелярии,
по совместительству — пивной.

* * *

Чему бы вокруг ни случиться,
тепло победит или лед,
страны этой странной страницы,
мы влипли в ее переплет.

* * *

Сперва, воздушный строя замок,
принцесс рисуешь прихотливых,
потом прелестных видишь самок,
потом бежишь от баб сварливых.

* * *

Всеведущий следит за всеми Бог,
но думаю, вокруг едва взгляну,
что все-таки и он, конечно, мог
забыть одну отдельную страну.

* * *

Не зарекайся от косой
в краю, враждой расколотом;
одних старуха шьет косой,
других — серпом и молотом.

* * *

Душа болит, свербит и мается,
и глухо в теле канителится,
если никто не покушается
на целомудрие владелицы.

* * *

В любви, трудах, игре и спорте,
искусстве, пьянстве и науке
будь счастлив, если второсортен,
у первосортных горше муки.

* * *

Налей нам, друг! Уже готовы
стаканы, снедь, бутылъ с прохладцей,
и наши будущие вдовы
охотно с нами веселятся.

* * *

Смотрит с гвоздика портрет
на кручину вдовию,
а миленка больше нет,
скинулся в Жидовию.

* * *

Чтоб выжить и прожить на этом свете,
пока земля не свихнута с оси,
держи себя на тройственном запрете:
не бойся, не надейся, не проси.

* * *

Чем меньше истинной потенции,
а также знаний и эрекции,
тем твердокаменной сентенции
и притязательней концепции.

* * *

Каждый сам себе — глухие двери,
сам себе преступник и судья,
сам себе и Моцарт и Сальери,
сам себе и желудь и свинья.

* * *

Лучше нет на свете дела,
чем плодить живую плоть;
наше дело — сделать тело,
а душой — снабдит Господь.

* * *

Никто, на зависть прочим нациям,
берущим силой и железом,
не склонен к тонким операциям
как тот, кто тщательно обрезан.

* * *

Везде одинаков наш свет,
везде можно в петлю полезть,
везде хорошо, где нас нет,
везде тяжело, где нас есть.

* * *

Дорога к истине заказана
не понимающим того,
что суть не просто глубже разума,
но вне возможностей его.

* * *

Серые подглазные мешки
сетуют холодным зеркалам,
что полузабытые грешки
памятны скудеющим телам.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА —
ИЕРУСАЛИМ"**

выпускает сборник стихов московского поэта И. Гарика "Еврейские дацзыбао". Сатирические четверостишия, пародийные поэмы И. Гарика много лет распространялись в Самиздате, некоторые из них положены на музыку и стали достоянием современного советского фольклора. В сборник вошли поэмы "Обгусевшие лебеди", циклы стихов "Поздняя осень, жида улетели", "Вражеский голос ругает Отчизну" и другие юмористические и малоизвестные в Самиздате философские стихи И. Гарика. Книга иллюстрирована карикатурами и фотоколлажами. Предисловие написано В. Раскиным.

Заказы принимаются по адресу: Tel-Aviv, P.O.B. 23121.

Цена в Израиле — 40 лир (с пересылкой).

За границей — 6 долларов.

В продажу книга поступит в августе 1978 года.

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

«КОНТИНЕНТ» № 16

Содержание

Стихи современных украинских поэтов.

В переводах Игоря Качуровского.

Виктор Ворошильский — Венгерский дневник.

СТИХИ

Виолетта Иверни, Вадим Делоне, Лия Владимирова

Феликс Кандель — "Это не телефонный разговор..."

СТИХИ ПОЭТОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Валерий Перелешин, Игорь Чиннов

Владимир Максимов — "Ковчег для незваных" (глава из романа)

Генрих Сапгир — Из книги "Сонеты на рубашках"

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Борис Парамонов — Мальчик против мужа

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Вацлав Белоградски — Литература как критика банального зла

Польский Аноним — Нация — религия — миссия — ответственность

ЗАПАД - ВОСТОК

Андрей Сахаров — Ядерная энергетика и свобода Запада

Энцо Беттица — Еврокоммунизм и Грамши

ИСТОКИ, ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА
И ВРЕМЯ, КОЛОНКА РЕДАКТОРА, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ,
КОРОТКО О КНИГАХ, ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Главный редактор журнала — **ВЛАДИМИР МАКСИМОВ**

Представитель в Израиле — Михаил Агурский. Рамот, 6/30, Иерусалим.
"Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ,
пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ, включая пере-
сылку.



A. Neimanis - Buchvertrieb

**Bauer Str. 28 — 8000 München 40
GERMANY**

Tél. 37-05-34



Нафтали ПРАТ

ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ...

Историки любят подчеркивать диалектический характер еврейской истории. Они усматривают в ней действие двух тенденций, противоположно направленных, но неразрывно связанных друг с другом: тенденции к национальному обособлению, ко всяческому утверждению своей индивидуальности, и тенденции к восприятию влияния окружающего мира — вплоть до уподобления ему. Каждая из этих тенденций питает противоположную. Чем сильнее проявляется одна, тем выраженнее другая. Взаимодействием этих тенденций движется еврейская история. Полная победа одной из них означала бы конец еврейской истории: превращение еврейства в окаменелость, полностью выпавшую из истории человечества, либо полное и бесследное растворение его в человечестве. В разные эпохи в еврействе преобладала то одна, то другая из этих тенденций. Однако никогда преобладающей тенденции не удавалось полностью подавить противоположную. Наоборот, высшее развитие одной тенденции вызывало, в виде реакции, активизацию второй, которой, в свою очередь, также не уда-

валось утвердить свое абсолютное, исключительное господство. Самое замечательное в этом процессе — это именно неразрывная связь обеих тенденций, их взаимопроникновение и взаимообогащение. Фанатики национальной исключительности и ярые ассимиляторы никогда не забывали о своем кровном родстве.

История сионистского движения являет пример все той же вечной диалектики. Сионизм возник как реакция на задачу процесса эмансипации евреев в европейских странах. Новый европейский антисемитизм продемонстрировал крушение попыток ассимиляции в среде европейских народов и заставил некоторую часть европейского еврейства обратиться к поискам национальных решений "еврейского вопроса". Однако сионизм как современное политическое течение — а не как смутное чаяние, — мыслящее категориями национальной государственности и организованной колонизации, мог возникнуть только в Западной Европе второй половины XIX века и мог быть создан только людьми, воспитанными в европейской духовной атмосфере, впитавшими европейские понятия и ценности.

Политический сионизм не мог возникнуть в среде восточноевропейского еврейства, сохранившего свой традиционный быт и почти не затронутого ассимиляцией. Чтобы осознать себя современной нацией, нужно было выйти из гетто. Чтобы осознать крушение ассимиляции, нужно было ее пережить. Сионизм явился не только отрицанием, но и продуктом ассимиляции, ее законным, хотя и мятежным детищем. В известном смысле чисто политический сионизм был не менее радикальной попыткой ассимиляции, чем отвергаемый им путь национального самоотрицания, однако, ассимиляции не индивидуальной, а коллективно-национальной. Он проповедовал уподобление еврейского народа — народа уникальной исторической судьбы — другим народам мира. Он хотел "быть, как все народы". Исключительный характер еврейской судьбы воспринимался этим видом сионизма как ненормальность, подлежащая исправлению.

Отвергая идею миссии еврейского народа, этот сионизм возводил национальное бытие как таковое в высшую и, по существу, единственную ценность. Пределом этой коллективной ассимиляции является отвержение всяких сверхнациональных идеалов и прославление "священного эгоизма" еврейского народа — откровенное, либо безвкусно украшенное, согласно сегодняшней моде, религиозными фразами.

Это популярное в наши дни умонастроение является тревожным симптомом деградации сионистской идеологии, вызванной неспособностью этого движения справиться с проблемами, ради решения которых оно было создано. Ранний сионизм породил целый ряд мифов, опровергнутых историей, вроде мифа о том, что создание еврейского государства равнозначно созданию безопасного убежища для преследуемых евреев мира. Свойственное раннему сионизму радикальное отрицание галута также не выдержало испытания историей. Сегодня даже самый ревностный сионист едва ли станет отрицать тот очевидный факт, что сильная и влиятельная диаспора, по меньшей мере, так же необходима для существования и благосостояния государства Израиль, как и существование государства — для нормального самочувствия евреев диаспоры. Эти последние — в некоторых, по крайней мере, странах — при всей своей несомненной привязанности к Израилю, выражающейся в активной политической и материальной поддержке, — не чувствуют себя находящимися в изгнании. Они сочетают принадлежность к еврейству как мировой общности с преданностью тем странам, в которых они живут и в жизни которых принимают самое активное участие — на пользу, между прочим, и государства Израиль, тогда как жители его подчас склонны расценивать проживание еврея за пределами этого государства как нечто морально предосудительное. К традиционной сионистской мифологии относится представление о существовании еврея в галуте как о позоре и унижении. Это нигилистическое отношение к столетиям еврейской истории, богатым культурными достижениями, представляет собой весьма характерный пример той самой еврейской "ненависти к самому себе", о которой любят разглагольствовать

обличители "галутного еврея", рисующие его облик — облик своего отца! — в карикатурных чертах, подчас неотличимых от стереотипов антисемитизма.

Взаимоотношения между диаспорой и Израилем служат еще одним примером все той же диалектики еврейской истории. Они еще раз свидетельствуют о том, сколь утопичны и несбыточны мечты решить все проблемы еврейского бытия на путях полного обособления от мира, абсолютного неучастия в его делах и заботах. Нет такого уголка на земном шаре, который был бы защищен от ветров мировой истории. Тем более не является таким уголком Ближний Восток, где скрещиваются интересы сверхдержав. Свобода действий Израиля неизбежно ограничена. Догмы и мифы, как бы дороги они ни были сердцу того или иного политического деятеля, неизбежно должны капитулировать перед требованиями реальности — или превратиться в источник неудач и разочарований.

Кто не хочет видеть, что мы живем не только в Эрец-Израэль, но и в мире, тот обрекает себя на судьбу того — опять-таки мифического! — страуса. Этот страус прячет свою непропорционально маленькую голову в "стратегическую глубину" песка, которым изобилует любая пустыня — Синайская или духовная.

До сегодняшнего дня существует два противоположных понимания целей и смысла сионистского движения. Одно из них видит в сионизме средство самоизоляции еврейского народа, его полного отказа от участия в делах, затрагивающих интересы всего остального человечества. На этом пути изоляционисты сионизма надеются спасти еврейский народ от пагубного увлечения "служением чужим богам" и направить его усилия на единственно достойную цель строительства национальной жизни в надежных рамках собственного государства, выходить за которые ни при каких обстоятельствах не рекомендуется. Еврейство диаспоры с этой точки зрения интересно лишь как резервуар потенциальной алии, а поскольку оно не спешит совершить алию, оно заслуживает сурового осуждения, в лучшем случае — сожаления. Как не вспомнить

описанного К. Паустовским одесского нищего, который гневно требовал — не просил! — милостыни, осыпая ругательствами потенциальных жертвователей!

Очевидный крах этого упрощенного понимания сионизма не привел, однако, к пересмотру его адептами своих воззрений. Он лишь придал их разглагольствованиям невыносимо лицемерный оттенок. Они вынуждены считаться с продолжающимся существованием диаспоры и даже извлекать из этого немалую выгоду для Израиля. Однако они продолжают высокомерно третировать большинство еврейского народа, живущее за пределами Израиля, как евреев второго сорта. Этому пониманию сионизма противостоит иное, рассматривающее государство Израиль не как самоцель, но как важнейшее средство скрепления единства еврейского народа, чье существование важно и необходимо не только его сынам, но и всему человечеству.

Вершина религиозно-национального самосознания еврейского народа — проповедь пророков — содержит отчетливо выраженную мысль о мессианском призвании Израиля, несущего народам идею всеобщего мира и спасения.

Великий пророк Исайя с гениальной мощью выразил единство национального и универсального начал в иудаизме. М. Бубер называет мировоззрение пророков "национальным универсализмом". Это мировоззрение он противопоставляет эгоистическому национализму как "исконный еврейский гуманизм". "Я противопоставляю, — говорит он, — исконный еврейский гуманизм тому еврейскому национализму, который рассматривает Израиль как нацию, подобную другим нациям, и не признает для Израиля иной цели, чем сохранение и утверждение себя. Но ни одна нация не может видеть в этом свою единственную цель, и точно так, как человек, который стремится лишь к самосохранению и самоутверждению, ведет бессмысленное и ничем не оправданное существование, нация, не имеющая иной цели, чем эта, обречена на вымирание".

Такое понимание сионизма слишком высоко для тех чиновников, которые занимаются по долгу службы проблемой

алии из Советского Союза. Наталкиваясь на неизбежно возникающую проблему взаимоотношений между движением евреев за выезд из СССР и движением за гражданские права, в котором евреи принимали самое активное участие, они склонны решать эту проблему в духе абсолютной несовместимости и непримиримой противоположности целей этих движений.

* * *

Существует "идеологически выдержанная" версия истории движения евреев за выезд из Советского Союза, весьма отдаленно напоминающая действительное положение вещей. Согласно этой версии, движение за алию развивалось совершенно независимо от так называемого "демократического движения" и представляет собой, в сущности, антагониста этого последнего, поскольку евреи, участвующие в этом движении, понапрасну расходуют свои драгоценные силы в бесплодной борьбе за чужое дело. Борьба за алию разворачивается чуть ли не в безвоздушном пространстве. Характер того общества, в котором живут евреи, изъявляющие единственно нормальное и понятное (с точки зрения авторов этой версии) желание это общество поскорее покинуть, оказывается совершенно или почти совершенно не имеющим значения. Галут есть галут. В любом галуте евреи обречены на страдания, лишь их форма подвержена изменениям, что, впрочем, не имеет принципиального значения.

Демократическое или тоталитарное государственное устройство само по себе ничего не меняет в положении еврейского меньшинства. Демократия, политическая свобода и связанное с ними видимое благополучие способны лишь питать опасные иллюзии, которые неизбежно будут разрушены действительностью. Существует непреложный закон, согласно которому всякий период процветания и обманчивой безопасности евреев в галуте завершается катастрофой. Поэтому евреям не следует заботиться об изменении политических условий в той стране, куда их занесла судьба. Предоставим

гоям самим решать свои проблемы. Наше дело — работать над организацией скорейшего и по возможности массового исхода. Поскольку в душе каждого еврея теплится пресловутая "искра", из которой при соответствующих условиях может возгореться пламя любви к Сиону, он, в сущности, всегда готов к исходу. Нужно только не давать искре потухнуть, всячески раздувать тлеющее пламя, подбрасывать в него горючий материал (учебники иврита, сувениры, открытки с видами Израиля) — и тем приближать массовую алию. Нечего тут рассуждать. Бесплодное мудрствование, как известно, — это отличительная черта галутского еврея. Главное — уехать в Израиль, это решает все проблемы.

Между тем, движение советских евреев за выезд в Израиль представляет собой в такой же степени факт истории Советского Союза, как и событие в истории еврейского народа. Здесь не место рассматривать подробности истории этого движения. Очевидно, однако, что это движение было бы совершенно немислимо в условиях сталинского террора, убивавшего в зародыше всякую попытку независимой общественной инициативы. Оно могло возникнуть лишь в обстановке того, ограниченного по масштабам, но весьма реального смягчения политического режима в СССР, которое осуществилось в годы правления Хрущева и стало приносить плоды в виде первых открытых выступлений оппозиции вскоре после его свержения.

Возрождение национального самосознания советского еврейства происходило не только под влиянием Шестидневной войны, но и под влиянием возрождения гражданского самосознания советских людей разных национальностей. Оно само было одним из проявлений этого роста гражданского сознания.

Вместе с русским по преимуществу (хотя его участниками были весьма многие евреи) демократическим движением развивались родственные ему по духу и целям, но в то же время носящие подчеркнута национальную окраску движения среди нерусских народов: украинцев, литовцев, крымских татар и др.

Еврейское национальное движение обладало перед всеми этими проявлениями роста националистических настроений тем видимым преимуществом, что достижение его целей не связывалось с изменением политической системы СССР, а поэтому было более реальным, чем достижение целей какого-либо другого национального движения, не говоря уже о правозащитных целях "общесоюзного" демократического движения. В этом преимуществе заключался, однако, соблазн, которому некоторые из активистов движения за алию склонны были поддаваться. Этот соблазн состоит в забвении того, что при несомненном различии целей демократического и сионистского движений противоречия между этими целями нет. Более того, существует прямая связь между реализацией цели того и другого движения. Сознательное, движимое идейными мотивами стремление к алии, в отличие от беспорядочного бегства от преследования или просто охоты к перемене мест в поисках лучшей жизни (которая сама по себе нисколько не позорна) гораздо естественнее возникает на почве свободного развития еврейской жизни в диаспоре, чем на почве полного отрыва от еврейских традиций.

Массовый характер алии из Советского Союза в недавнем прошлом объясняется в значительной мере тем, что борьба за выезд оказалась единственной формой свободной общественной активности, сулящей успех. Но этим же в конце концов объясняется и нынешнее иссякание источников алии. Абстрагируясь от немаловажных факторов внешнеполитического и экономического положения Израиля, можно сказать, что резкое сокращение алии представляет собой симптом известной нормализации условий выезда из СССР. Смеею предположить, что, если бы из Советского Союза выехать было бы так же легко, как из США, выезд утратил бы значительную долю своей привлекательности. А в этих условиях решающее значение приобрела бы сионистская деятельность среди еврейства диаспоры, немислимая без учета реальных политических и социальных условий, существующих в той или иной стране.

Для нас, по-видимому, не совсем безразличны мотивы, по которым человек решает приехать в Израиль. Если он приез-

жает сюда просто потому, что больше ему некуда податься, если его принуждают ехать именно в Израиль, а не в какую-нибудь другую страну, с помощью различных методов давления, то много ли выиграет Израиль, приобретая такого гражданина?

Я не хочу говорить здесь о том, какова моральная ценность такого стремления добиться алии любой ценой: это должно быть очевидно (должно быть, но очевидно далеко не всем). На примере активной, хотя и безуспешной борьбы с "неширой" можно убедиться, к каким абсурдным последствиям ведет усердие не по разуму тех сионистов, которые не желают считаться с политическими особенностями Советского Союза и усматривают в эмиграции оттуда евреев не в Израиль, а в другие страны свободного мира — настоящее бедствие. Для них безразлично, будут ли евреи жить под властью диктатуры, попирающей права человека, в том числе и права еврейского меньшинства, или в условиях свободы. Главное — это упорное нежелание этих "подонков" ехать в Израиль. А тем, кто хочет сменить один галут на другой, не следует оказывать никакой поддержки.

Существует мнение, что если евреи будут ехать не в Израиль, а в другие страны, Советский Союз может рассердиться и вовсе закрыть выезд. Однако вся эмиграционная политика Советского Союза в последние годы свидетельствует о том, что его власти прямо заинтересованы в эмиграции нежелательных элементов и подчас оказывают прямое давление на диссидентов, чтобы побудить их к эмиграции. Причем вызов в Израиль служит лишь формальным оправданием фактического изгнания из страны человека, арестовать которого по тем или иным причинам КГБ не хочет.

Та же боязнь оскорбить могущественное государство, держащее в кулаке миллионы еврейских судеб, сквозит в желании отгородить китайской стеной движение за алию от каких бы то ни было оппозиционных течений в советском обществе. Как будто бы в глазах советских правителей само желание покинуть СССР не выглядит прямым намерением совершить измену родине, а сионизм не является опаснейшим врагом не только народов Советского Союза, но и всего человечества!

Мы не можем пускаться здесь в подробный анализ причин, по которым советские правители терпят существование евреев, открыто изъявляющих желание уехать в Израиль. Но можно предположить с известной долей уверенности, что симпатии к оппозиционному движению едва ли могут служить помехой эмиграции еврея из СССР. Скорее наоборот. Что же касается страха перед гневом московских владык, то неутешительная история попыток Израиля наладить сколько-нибудь приближающиеся к нормальным отношения с этой сверхдержавой убедительно свидетельствуют, что ее отношение к Израилю едва ли определяется хорошим или дурным поведением последнего. Ярость советских властителей не нуждается в специальном поводе для самовозгорания.

Все же нельзя отрицать, что в известном смысле цели движения за выезд в Израиль приходят в столкновение с целями русской демократической оппозиции — хотя бы в том смысле, что движение за выезд в Израиль отвлекает от борьбы за права человека в СССР значительные интеллектуальные и моральные силы. Не случайно многие активисты правозащитного движения решили ехать в Израиль лишь после того, как убедились в чрезвычайно малой эффективности и почти полной бесперспективности своих усилий добиться изменения политического климата в СССР. Я не хочу обобщать эту достаточно характерную для истории русского еврейства ситуацию, превращать ее в закон, действующий всегда и повсюду, независимо от исторических условий, однако, я настаиваю на том, что в данных условиях лучшее решение приняли те евреи, которые предпочли бесплодной борьбе за преобразование России — эмиграцию в Израиль или другие страны свободного мира.

Гельсингфорсская программа русских сионистов, принятая в 1906 году, выдвигала ряд требований, предполагающих радикальное изменение политического строя России. В. Жаботинский в статье "Еврейская крамола", проникнутой страстным пафосом отрицания того, чтобы "творить еврейскими руками русскую историю", призывающей еврейский народ надеяться только на себя самого (а не на добрую волю сомни-

тельных союзников), — в этой блестящей статье, отражающей и правоту, и неполноту "классической" сионистской идеологии, — писал о том, что необходимость участия евреев в общей борьбе за освобождение России никто не оспаривает. Спор идет лишь о месте евреев в этой борьбе: "Мы честно и дружно пойдем с освободительным движением, ибо вне свободы немислимо национальное сплочение, но самая сила вещей отвела евреям место во вторых рядах, и мы оставляем первые шеренги представителям нации-большинства. Мы отклоняем от себя несбыточную претензию вести: мы присоединяем ся — это все, что объективно под силу нашему народу. В этой земле не нам принадлежит созидательная роль, и мы отказываемся от всяких притязаний на творчество чужой истории".

Таково было мнение того замечательного человека, который более других лидеров сионизма верил в принцип "священного эгоизма" народа и готов был принять правила игры, навязываемые волчьим миром национального соперничества.

Насколько зорче и пронизательнее был он тех наших современников, которые, как чумы, боятся какого-либо соприкосновения с русской демократической оппозицией! Пусть не ссылаются на то, что нынешний режим России — не чета царскому, что в условиях тоталитаризма невозможна никакая оппозиция. П р и н ц и п а л ь н о остается верным сегодня, как и во времена первой русской революции, утверждение, что "без свободы немислимо национальное сплочение". Положение советского еврейства сегодня не таково, чтобы можно было ожидать его массового бегства из СССР в поисках спасения.

Чтобы Израиль стал центром притяжения для потенциальных эмигрантов из СССР, необходимо не только такое международное и внутреннее положение этой страны, которое не отпугивало бы тех, кто колеблется при выборе страны своего будущего проживания, но и всяческое развитие национального самосознания советского еврейства, приобщение его к вечным ценностям иудаизма как цивилизации. Только в этом случае переезд в Израиль будет для советских евреев подлинной репатриацией, а не просто эмиграцией.

Герцль говорил когда-то, что возвращению в страну Израйля должно предшествовать возвращение к еврейству. У советских евреев первое знакомство с еврейской культурой происходит зачастую лишь после приезда в Израиль — страну, совершенно чуждую им по языку, нравам, обычаям — и всему образу жизни. Это одна из причин плохой интеграции значительной части выходцев из Советского Союза, часто — причина личных трагедий. Полный отрыв от еврейства должен быть преодолен до того, как человек принимает решение переселиться в Израиль. А это предполагает известный минимум свободы в той стране, которую потенциальный эмигрант покинет.

Само право эмиграции, право свободно покидать одну страну и переселяться в другую — это одно из элементарных демократических прав, пользование которым до недавнего времени было так же недоступно советским гражданам, как недоступны им свобода слова и печати, свобода ассоциаций или подлинная свобода совести.

Борьба за это право объективно означала борьбу за ослабление всевластия диктатуры над человеческой личностью. Поэтому борьба советского еврейства снискала симпатию свобододолюбивых людей во всем мире и пользуется по сей день активной поддержкой лучших людей России, таких, как академик А. Сахаров, а также поддержкой борцов за свободу других народов Советского Союза. Весьма характерно, что узконационалистическое течение в русской оппозиции, зараженное авторитарным и подчас прямо реакционным духом, проявляет к движению евреев за выезд из СССР такое отношение, которое практически совпадает со взглядами вульгарно-сионистских отрицателей галута. Как не увидеть в трескучих филиппиках наших барабанщиков национального возрождения внутреннее приятие антисемитизма, готовность глядеть на евреев через смастеренные антисемитами очки, пользоваться языком антисемитизма и заимствовать у него аргументы!

До сих пор я говорил о целесообразности или нецелесообразности сотрудничества сионистов с демократической оппозицией.

зицией в Советском Союзе. Но соображения целесообразности не являются решающими в этом вопросе, имеющем ярко выраженную моральную окраску. Может быть, хотя я в этом совсем не уверен, по соображениям целесообразности движению за выезд евреев из СССР и следует избегать прямого участия в борьбе за изменение политических условий в этой стране, но отказаться от выражения моральной поддержки мужественным борцам за права человека — этого никто не имеет права от нас требовать. Движение за национальное освобождение еврейского народа черпает силу в том, что оно — движение за свободу, а не просто за национальные интересы. Благодаря этому у нас много друзей в мире. Неправда, что весь мир против нас. Провинциальные Макиавелли не верят в совместимость политики с моралью. Одновременно они непрерывно призывают к совести человечества. Они хотят рекомендовать Израилю политику, руководствующуюся афоризмом де Голля "У Франции нет друзей, есть лишь интересы", и в то же время они вынуждены стараться привлечь на сторону Израиля общественное мнение за границей. Они уверены в своем реализме. Отсутствие морального чувства кажется им верхом политической мудрости, а дешевый цинизм — трезвостью. Но именно о "реализме" этого сорта Достоевский говорил, что он хуже любой фантастики, потому что слеп.

Староверы сионизма любили цитировать мудреца и гуманиста Гиллея, который говорил: "Если я не за себя, то кто же за меня?" Пора вспомнить другие слова того же Гиллея: "Если я только за себя — зачем я?"



ПИСАТЕЛЬ И МИР

Петр В А ИЛЬ,
Александр ГЕНИС

НА АВРАЛЕ

СОВЕТСКАЯ ПРОЗА МЕЖДУ САМИЗДАТОМ И СОЮЗОМ ПИСАТЕЛЕЙ

Покойный Александр Галич рассказывал, что лучшую житейскую мудрость ему довелось слышать от одного старого поляка. Тот, суммируя свой долгий опыт, сказал: "Знаете, пан Галич, главное в жизни — чтобы оставалось, куда бежать". Похоже, что русская литература в Советском Союзе бежит в Самиздат.

Странное это слово — русско-советское — означает теперь куда больше, чем просто бесконтрольное издание книг и статей. Это — явление общественное, во многом влияющее на нынешнюю внутривнутриполитическую обстановку в СССР. О Самиздате сказано уже много и, разумеется, будет еще больше. Нас интересует сейчас одно — в какой степени Самиздат определяет развитие подцензурной советской литературы. И вообще. Самиздат — как явление, противостоящее официальной литературе.

Представим себе, как душной ночью мечется в простынях живой классик Георгий Марков и терзает его сладко-кошмарный сон: бессмертную эпопею "Сибирь" не берут издательства, но идет на черном рынке по 20 рублей восьмой, почти не читаемый, машинописный экземпляр. И просыпается с улыбкой и в слезах: миллионные тиражи эпопеи гниют на магазинных полках, а машина внизу, а дачи в Переделкино и в Крыму, а на днях поездка в Зимбабве с заездом на Азорские острова.

В благословенные сороковые и пятидесятые о таких снах даже задумываться не приходилось. Все шло гладко, и никакие подводные течения не волновали широкий поток конфликта хорошего с лучшим. Теперь сокрушительный успех Самиздата подергивает даже окаменевших маститых и уж совсем не дает покоя остальным печатающимся.

Критерии сместились. Почетно стало быть непечатаемым автором. Слово "издательство" вообще приобрело некий неприличный оттенок, и сокращенные их и специальных журналов названия звучат вовсе не пристойно: "Совпис", "Вопли", "Литобоз"* . Дошло до того, что в интеллигентской среде на публикуемого автора глядят с модным подозрением: не стукач ли, не на Лубянке ли ему предисловия пишут?

И мучается писатель. По разным причинам мучается. И дело тут не в машинах, дачах и поездках. Прежде всего, есть неистребимый соблазн печататься. К тому же существует общественная ситуация, вскормленная русской традицией: вряд ли когда-нибудь — даже при самом широком распространении — Самиздат полностью удовлетворит читающую публику. В России привыкли к "горячим новинкам", привыкли — как нигде в мире — к периодике, к толстым журналам. До сих пор с блаженным стоном вспоминают тот "Новый мир" — и не потому только, что было в нем в ту пору. А потому еще, что был он, "Новый мир" Твардовского, необходимой частью духовной жизни. Не торопясь оглавление изучить и в телефон сказать: "Вы уже видели последнюю книжку "Нового мира"?"

* Издательство "Советский писатель", журналы "Вопросы литературы" и "Литературное обозрение".

Конечно, многие из тех, кто пытался писать правду, постепенно попричихали, повернулись к светлому будущему и спецраспределителям. Бунтарь и ниспровергатель Евтушенко пропадает на КамАЗе, "выковываясь" в рабочем коллективе, и играет в кино Циолковского, Рождественский ведет на телевидении почему-то передачу "Документальный экран".

А как быть писателю, не ушедшему или только частично ушедшему в Самиздат и не желающему ни КамАЗа, ни "Документального экрана"?

Тут-то и выясняется, что советская цензура не только тащит и не пукает, но, давая печатному слову некую униформу, она добивается неожиданного эффекта: на сером фоне убогой официальной литературы становится заметен каждый новый самобытный писатель. И еще: под прессом цензуры бурно и неостановимо развивается метафорическая система языка.

Как был бы рад Михаил Евграфыч Салтыков-Щедрин, прочитав Аркадия Белинкова! Его "Юрий Тынянов" — непревзойденная вершина эзоповой советской прозы. Опубликованный и даже повторенный в "оттепель" (1964 и 1965 гг.) "Тынянов" читается теперь с чувством глубокого удивления. Как? Куда смотрели? Почему проглядели? Они думали — он про Тынянова, а он ведь про них. И разве мог он так читаться, если б издевался впрямую — без тончайшего своего, чисто белинковского сарказма и иронии.

Балансирование под недремлющим оком цензуры — не просто технический прием, это авторская манера, более того — стиль, и более того — часто мировоззрение. Некий Архимедов закон цензуры: давление на содержание, на суть вытесняет на поверхность литературы разнообразие художественных форм, и форма сама становится протестующей сутью.

* * *

Человеку, изучающему историю советской литературы по учебникам, может показаться, что всегда было так, как на съездах писателей. И вечно Всеволод Кочетов, Василий Федоров и иже стояли у колыбели новорожденной пролетарской словесности.

Словно в недолгий период "разрешаемого эксперимента" не появилась целая плеяда талантов: Бабель, Зощенко, Платонов, Олеша, Булгаков, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, разумеется, ни в один учебник не попадающие. И самое страшное — из литературного процесса изъяты. Тут, конечно, вивисекция, проделанная советской цензурой, принесла свои плоды, оставив благодарным потомкам Кочетова, Бабаевского и Софронова. К счастью, рукописи действительно не горят, и спустя тридцать-сорок лет мертвые ожили.

"Европейцы выброшены из своих биографий, как шары из миллиардных луз", — писал Мандельштам (в статье, характерно озаглавленной "Конец романа"). Жизнь человека потеряла свою степенную последовательность и предсказуемость — фабулу и психологическую мотивировку. То есть то, без чего классический роман, питавший всю культуру XIX века, существовать не может.

Писатели, оставшись без привычной реалистической формы, вынуждены были начать поиски первоосновы литературы — со слова. "Самовитое слово" футуристов примеряло новый звуковой наряд ("Дыр бур щил" Крученых). Корнесловие Хлебникова возрождало праязыковую идею речи. Писатели жадно открывали новые словесные регионы. Каверин пишет на уголовном арго-фене ("Конец хазы"), Чапыгин, Шишков переходят на диалекты, Ремизов воскрешает архаические формы. Другие (Олеша) идут в глубь предмета, создавая из сырья жизни метафорический мир. Слово теряло синтаксис (Шкловский), одаривалось поэтическими атрибутами (Белый) и вступало в немыслимые сочетания (Платонов).

Так создавался строительный материал для неотстроенного храма новой русской литературы. Но храм так и не был выстроен. Первый съезд советских писателей (1934 г.) четко определил все, что нужно и можно было делать писателю. И в истории русской словесности появился провал лет в тридцать. Литературная преемственность была прервана, а восстановить ее до сих пор не удалось.

Не удалось, да и вряд ли удастся. Писатели, появившиеся в шестидесятые "оттепельные" годы, практически начали

творить на голом месте. А поскольку на голом месте творить вообще нельзя, то новое поколение обратилось к хрестоматийным классикам. Дело в том, что литература должна собираться с силами, чтобы родить нечто зрелое, законченное. Так в начале XIX века Карамзин, Бестужев-Марлинский, Пушкин подготовили классический реализм Толстого, Тургенева, Гончарова. Но в начале XX века ранняя юность закончилась скорым летальным исходом. И вот теперь, — уже второй раз за одно столетие, — зреет наша литература, уже сейчас предлагающая в качестве аванса "Доктора Живаго" и "В круге первом".

Солженицынский "Один день..." вернул нас к традиционной русской прозе в ее классической форме и породил волну нового критического реализма. После идиллий Павленко нужен был факт. Правдиво описывать жизнь в жизнеподобных формах — этот тезис стал лозунгом всех честных писателей. Появляются "деревенщики" — Абрамов, Белов, Можавев, Тендряков. Добротный реализм вновь становится столбовой дорогой нашей литературы. Но кончилась "оттепель", и самая плодovitая часть русской прозы оказывается вновь загнанной в Самиздат.

Возможно, придет время, когда ученые будут говорить об "эзоповом периоде" советской литературы. Если в двадцатые годы форма рождала содержание (а часто и вовсе оставалась без адекватного содержания), то сейчас уже тема диктует писателю выбор литературных приемов. Поэтике "эзопова периода" свойствен особый угол зрения. Фантастичность окружающего в Советском Союзе естественно приводит к абсурдным формам осознания жизни.

Реальность гротескна сама по себе. Возьмем "Иванькиаду" Войновича, где простое изложение фактов превращается в немыслимый абсурд. Теперь такую реальность обратим в гротескную творческую конструкцию — и получим произведение, далекое от жизнеподобия и вместе с тем верно отражающее действительность.

"ПОИСКИ ЖАНРА"

— последняя книга Василия Аксенова — имеет оригинальный подзаголовок: "Поиски жанра". Там, где обычно стоит "роман", "повесть" или на худой конец "быль", у Аксенова обычная несурзаца. Но на этот раз писатель не морочит читателя. Нет, это рабочее определение, и трудно найти точнее.

Жанр — это единство композиционной структуры. Система приемов. Но это и рама, куда вставляется кусок жизни. Это и колокольня, с которой художник смотрит на жизнь.

Аксенов ищет жанр уже двадцать лет. От ученического копирования в повестях типа "Коллеги" к остраненной прозе "Затоваренной бочкотары". Ищет форму, способную вместить его постижение жизни как вещи странной и глубокой. Систему, в которой аксеновский мир сможет свободно распластаться в безвременно-внепространственном, естественно-фантастическом приволье. Где будет место для безобразника Мемозова, буржуа Сиракузерса, психа Герострата-Стратостата. Причем прижимистый Аксенов не торопится расставаться с незатейливым, но, честно говоря, очень смачно и точно описанным бытом — со своими джазистами и хипарями, забулдыгами и бездельниками. Куда все это деть? Поневоле придется выдумывать новый жанр.

Но вот он состоялся. Лежит синяя книжка "Нового мира" (№1, 1978), а в ней короткое — в 80 страниц — "собрание сочинений" Аксенова. Собранный воедино лучшая его проза, перелитая в эти самые подзаголовочные "поиски жанра". Здесь, наконец, нашлась адекватная форма для разрешения вечной двойственности реального-ирреального, настоящего-фантастического.

Жизнь, столь привычная, легко узнаваемая в каждой своей черточке. И вот она же — но здорово поработало творческое сознание, чтобы появились в ней щуплые птицы-нырки, поющие, хоть голос "слегка железочкой отдаст":

**Не надо печалиться,
Вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди,
Только хвост позади.**

Жизнь, пойманная в момент ее творческого постижения. Этические и эстетические ее первоосновы, с которых писатель соскребает серую штукатурку будней — вот какой жанр искал и нашел Аксенов.

"Рифма — шалунья, лихая проституточка. Уставший от ярма прозаик мечтает о мгновениях, вне логики, вне ratio, связях. Шалунья - колдунья — в соль дуну я — уния. Иногда, когда ловишь вслепую, можно больше поймать горячих и шелковистых". (?!)

Белиберда? Обнажение приема? Откровенничанье с читателем?

Нет. Это и есть поиск входа в нутро жизни. Желание нащупать ее подводное течение, разбить зеркальную гладь поверхности и заглянуть под амальгаму.

Фокусы Павла Дурова, героя "Поисков жанра" — конечно же, фокусы самого Аксенова: вытащить не кролика из цилиндра, а хвост истинной, творчески постигнутой реальности быта.

Аксенов рвется утверждать, что настоящее — не в коммунально-приземленном существовании, а в некоем торжественном мире идей, чувств, ощущений. В некоем идеальном прибежище философов и поэтов, где царит высшая справедливость мудрости искусства и красоты человека. Момент проникновения в это бытие и есть то счастливое озарение, которого так жадно ждет артист оригинального жанра Павел Дуров. Потому что тогда — из заурядного, съедаемого неудовлетворенностью человека — вырастает маг, кудесник, любитель богов. А ему уже все по плечу.

Нет, Аксенов не презирает, на манер Гофмана, серой действительности. Ему не свойствен дуализм романтиков: или ты фея, или дочь аптекаря, в аптекарской дочке — фея! И надо уметь увидеть.

Классическая тема — роль художника в обществе — в очередной раз находит свое выражение. Павел Дуров — человек, который учит людей входить в творческий контакт с миром.

У Платона: все мы сидим в пещере, зная о мире лишь то, что рассказывают тени на полуосвещенной стене. Дуров

твердо убежден в реальности этой внепещерной жизни. И нет для него цели выше, чем показать выход другому. И он дарит людям... Что? Например, розовый айсберг.

"Розовый айсберг появился на горизонте и весьма отчетливо приблизился. Сияли под летящим солнцем отвесные стены розового льда. Сладкий айсберг тихо и торжественно приблизился к нам, ко мне и детям. Линия морского горизонта поднялась над ним, и он вошел в медлительный дрейф вдоль берега...

— Видите, ребята, айсберг? — спросил я.

— Он настоящий? — спросила Света.

— А мы с тобой настоящие? — спросил я.

— Не знаю, — сказала она, — может быть, мы тоже чьи-то фокусы".

"МОЛОДОЙ ОДОЕВЦЕВ, ГЕРОЙ РОМАНА"

— это "Герой нашего времени" ленинградского прозаика Андрея Битова, который находит свой способ отражения действительности.

Прямая ориентация Битова на Лермонтова очевидна, и разглядеть ее не представляет труда. Эта ориентация и в прозрачном названии ("Молодой Одоевцев, герой романа"), и в эпиграфах ко всем пяти (тоже пяти!) частям романа из "Бэлы", "Княжны Мери" и предисловия к "Журналу Печорина"... Битов тычет читателя в классика — не ошибись, мол. И Максим Максимыч там имеется, и Мери, и Вера, и в последней части, где герой должен кидаться на пьяного казака, — автор сам распаивается перед читателем с отчаянной смелостью, будто бы свою "творческую кухню" приоткрывает:

"Ведь мне пришлось раздеть бедного Леву (Одоевцева) до совести!.. В его пользу следует сказать, что он это выдержал. Тоже ведь не всякий вынесет такое освещение, чтобы все, ну совершенно все, про него видно и известно было... Да, Лева выдержал. Возможно, ему пришлось проявить даже больше стойкости, чем автору. Неприглядный получился у него вид, а все равно, даже почти руку подать ему можно, зная про него все".

Ну, не о Печорине ли речь? Не ему ли, Григорию Александровичу Печорину, автор предлагает подать руку — Печорину, который Бэлу погубил, Мери отверг, Веру измучил, Грушницкого застрелил, Максима Максимыча оскорбил? Такая ясная, нарочитая параллель, что невольно встает вопрос: а зачем это все Битову?

В мировой литературе романтический конфликт личности и общества — один из самых излюбленных. Ввела такой конфликт и советская литература — переосмыслив, естественно. Теперь общество, или коллектив, не губили личность, но воспитывали ее — то есть поглощали без остатка. "Шаг вправо, шаг влево считается побегом". Разгильдяй, позволивший самостоятельность мысли и действий, тотчас загоняется в строй, вооружается лозунгом и звонко запекает. В более сложных случаях, связанных с искажениями на генетическом уровне (папа — раскулаченный, мама — дворянка), отщепенца благополучно убивали при попытке к бегству.

Коллектив противостоит личности, как более сложный и совершенный организм менее сложному, он наделен всеми качествами организма, едва ли не с поименованием органов. Директор, скажем, или комбат — мозг, парторг или замполит — горячее и чуткое сердце, звеньевой или там чекист — твердые и работающие руки. И так далее.

Впрочем, коллектив напоминал скорее даже не человека, а гидру — о головах по числу сознательных членов. И при усекновении одной (скажем, попадании под дурное влияние) тут же выращивалась другая: общим открытым голосованием или мудрым назначением сверху.

Так зарождается тоска по личности в советской литературе. Смертельная, ноющая тоска. По личности, вне ее функциональных проявлений. Не работника на работе, не семьянина в семье, не даже прохожего на улице — просто бы человека. Ведь не только в литературе — в жизни личность цепко и бесповоротно включается в систему, теряя всякое свое значение вне общественных связей. Место в ряду оказывается важнее самого факта существования.

И вот начинается реабилитация личности. И вновь классическая тема в современной советской литературе. И (как и у Аксенова) — новое решение ее. В классическом варианте обществу противостоит цельная личность — мощная, самостоятельная, вроде Печорина. Похож ли на него Лев Одоевцев?

Андрей Битов пользуется своим инструментом анализа. Постепенно, осторожно снимает слой за слоем — функцию за функцией.

В последней части романа Битов как бы спохватывается: ах, он же, Лева, у меня вроде и не занят ничем, вроде и профессии нет у него. Но просто эта функция — профессиональная — снята первой, как наиболее активная.

"Раздев" (по авторскому выражению) своего героя до конца. Битов разрушает уже "голую" личность. Начинается жутковатое: вычленение мотивов, страстей, страстишек, фобий. Идет воистину психопатологический анализ личности. Зачем? С единственной целью: доказать существование атома можно, лишь расщепив его.

Аналитическая холодность Битова сродни холодности все того же Печорина (а, стало быть, и Лермонтова).

"Он (Лева) знал, что сделал это после Фаины. Да и разве мог он считать свою измену изменой?.. Но и ее было достаточно, чтобы все сдвигалось, колебалось. Он теперь не был абсолютно чист: хотя бы — поперся ведь на это свидание?.. И, как бы это теперь ни объяснялось, абсолютной правоты уже не выходило, все это было как бы несущественно для следствия... и тогда открывалось второе доньшко, а там, в глубине глубины, что еще могло таиться?"

Кропотливый, беспощадный, чуждый всякой брезгливости, почти медицинский анализ. Битов показывает "потроха" личности, утверждая: личность — единственная ценность. Не важно, хороша она или плоха — она ценность.

В сюжете романа нет экстремальных ситуаций, событийный поток, если и не спокоен вовсе, то волнуется заурядно, пообывательски. Таких ситуаций, однако, хоть отбавляй в авторском анализе. Что только не вытворяет Андрей Битов с Львом Одоевцевым! Страшная вещь — страсть исследователя.

Надо влезать в самые тайные тайники, потому что это единственное, что можно и нужно сделать для личности, что он, прозаик Битов, может и должен сделать.

Такая вот "раздетая", разобранный личность противостоит уже даже и не коллективу. По Битову, коллектив изучать нет смысла, так как это не организм, а скопление индивидуальностей, качественно нового из себя не представляющее.

Все несколько иначе и куда мрачнее. Разъятая личность противостоит цельной, настоящей. Какой? Ну, скажем, такой, какая была у Лермонтова. Аналогов в настоящем, по Битову, нет. И это самое пессимистичное в его творчестве.

Битов разрушает личность своего героя, "раздевая до совести". А совесть — вещь зыбкая, сама нуждающаяся в опорах. Кубики, составляющие человека, рассыпаны. Надо бы сложить, а как?

"САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА"

— старик, не потерявший детства. У Фазиля Искандера хорошие люди его никогда не теряют.

Все мы — вырастая — становимся эмигрантами. А взрослость охраняет границу лучше, чем колючая проволока. Но Искандер стал уже совсем большим (его давно не называют молодым писателем), а детство умудрился протащить в свои книги и нашел свой способ рассказать о мире. И мир его чист и светел.

Точнее. Он был бы таким, если бы строили его дети. Но они только живут в нем... Жизнь, разъедаемая ложью, злобой, глупостью, дает мало поводов для оптимизма.

Не зря Искандер так цепляется за свой давно оставленный абхазский Чегем.

Писатель не пишет, а рассказывает смешные эпизоды, забавные истории, лукавые анекдоты. Его можно с таким же успехом назвать сатириком, как и Ходжу Насреддина. Книги его не знают ни конца, ни начала. Вот и "роман" "Сандро из Чегема" остался без всякой жанровой организации; ушла

одна глава в Самиздат ("Пир Валтасара") — никто и не заметил. Писатель просто живет в народной мудрости, в лучистом ощущении простоты и однозначности явлений. А когда жизнь кажется сложной и запутанной, он не торопясь развязывает узелки, пользуясь все тем же ясным и веселым подходом к миру.

Искандер, возможно, единственный национальный писатель (в отличие от всех Турсун-заде), который находит мироощущение действительно в своем народе. Патриархальная цельность его взгляда на жизнь идет из письменных глубин творческого сознания. Пафос избавления мира от фрагментарности — это пафос его перестройки. Вернее, восстановления. Вместе со всеми отжившими понятиями — чести, добра и правды.

"НОРМАЛЬНЫЙ ХОД"

— восстановить его, восстановить естественные отношения между людьми — этого хочет Валерий Попов, автор сборника рассказов "Нормальный ход".

Кажется, у Попова какой-то дефект зрения — так странно смещен его мир. Он почему-то видит, запоминает и фиксирует какие-то удивительно несущественные детали — то, о чем серьезный писатель и говорить не станет. То есть, станет отчасти — памятуя о знаменитой верхней губке княгини Лизы, жены князя Андрея.

А у Попова — сплошь "верхние губки". Все какое-то не-solidное, легковесное. Ну, скажем, поступил человек в институт. Вернулся домой, понятное дело, с триумфом. А дома как раз вымыли полы:

"И не знаю, что было важнее: что я преуспел в жизни, поступил в институт, или, что так пахло от вымытого пола мокрым деревом, сыростью, и я этот запах навсегда запомнил".

Да на кой черт ему полы эти сдались? В институт поступил, человеком будет, в армию не пойдет, люди уважать станут...

А ему — Попову — это не интересно. Ему просто интересны обстоятельства и даже мгновенья, которые традиционно обязаны определять биографию героя.

Вот это я с выпускным классом, а тут мы с ребятами на картошке, а это наша с Надей свадьба — кто из нас не листал такие альбомы и сам не совал их очумевшим гостям?

Попов ловит и останавливает мгновения другие: оттенки, интонации, ощущения — то, что, собственно и "делает" человека, часто и не затрагивая внешний ход событий. Человек не "становится", а "оказывается" — и на этой, истинной шкале ценностей сохраненный на всю жизнь запах вымытого пола выше аттестата или диплома.

Потому-то в рассказах Валерия Попова нет и нормального хода событий — большинство из них ведь и не важны. Его герой может выйти на лестницу и оказаться в другом городе, в следующем году. Вся жизнь состоит из тех "звездных мгновений", которые и есть жизнь. Не ночь Руже де Лилля, не заминка маршала Груши — вообще ничего исторического, сугубо важного в обычном понимании. В подтексте Попова — подтексте нового качества — остается девять десятых действия героя и событий его жизни. На поверхности — как кочки, всякие там "вымытые полы". По этим кочкам пробирается вместе с героем автор. Идет точечная сварка — каждое мимолетное прикосновение, каждый контакт сопровождается выделением колоссального количества энергии.

Понятно, что такое особое восприятие мира требует выражения в особой форме. Детали — контакты-события — необычны и гротескны и иными быть не могут, так как все "нормальное" загнано в подтекст. И мир воссоздается по ним гротескный — он же единственно нормальный. Такой мир "должен быть". А должно быть — нормально и просто, ясно и хорошо:

"Утром, как ни в чем не бывало, я выскочил во двор, уже заранее отчего-то ликуя, увидел угол двора, тихо освещенный солнцем, и бросившее зайчик отполированное сиденье стула с мотком пушистой шерсти на нем..."

И тут я вдруг понял, почувствовал: "Не так важно, что с тобой будет, — главное, каждую секунду чувствовать, что ты живешь!"

"Уже заранее отчего-то ликуя"... Отчего же? От стула с мотком шерсти, от вымытых полов? Поразительная обыденность вызывает ликование. Но — признаемся — счастлив тот, кто помнит больше ощущений, чем дат.

Вовсе не так уж безмятежен Попов — не все время он ликует и радуется. Внутренняя раскованность, раскрытость к восприятию его героя постоянно вступает в противоречия с официальным понятием "хорошего" и "плохого".

Этот чистит валенки, моет сам калоши,

Он хотя и маленький, но вполне хороший.

Здорово, не правда ли? Вынимаешь книжечку, тычешь пальчик в нее — и все сразу понятно. Почисть валенки с калошами, любишь кататься — люби и саночки возить, без труда не выловишь и рыбку из пруда, кто не работает — тот не ест, die arbeit macht frei. К концу жизни разогнуться со скрипом, с доброй усталой улыбкой поглядеть на пропаханную тобой борозду и тихо помереть в окружении работающих детей и внуков. Варианты: можно пасть, защищая борозду, или просто пасть на борозде.

Шестьдесят лет вбивают этакий светлый идеал. Ты поработай сперва — это произносится почему-то только со злорадством. Не дай Бог, чтобы "было слишком просто". Слишком просто любить, слишком просто делать то, что тебе нравится, слишком просто — жить...

" — Другие не знаю что, а я так со своей Марьей Ивановной двадцать лет отбухал.

— Отбухал? — засмеялся Слава. — Как это отбухал? По-моему, надо жить, а не отбухивать.

— А я вот отбухал. Двадцать лет. И горжусь".

Жить — счастье. От кого, вроде бы, надо защищать этот нехитрый тезис? От себя, оказывается — гнетет раб в себе, уверенный в том, что жить легко — это обязательно плохо, а вот "отбухать" сквозь тернии и преграды — доблесть.

И вот не собирают хлеб, а ведут "битву за урожай", не повышают производительность, а "борятся" за нее. И всегда

страна то "в кольце врагов", то "в империалистическом окружении". И все успехи — не успехи, а "завоевания". И в магазине не покупают, а "берут" — как высоту или город.

Попов восстанавливает нормальные отношения между людьми, лишенные натужности, налипшей шелухи фальшивых слов и понятий. Так просто то, чего хочет он. Но просто ли?

Годами в цехе, где работает герой, люди мучаются от страшного грохота пресса. Мучаются и терпят. И вот герой изобретает нехитрое приспособление — и все счастливы. И тоже счастливый главный механик говорит ему:

"А ты молодец! А то тут тоже до тебя был один такой... Тоже, видите ли, шум ему мешал. Так он по-другому немножко сделал: сам постепенно оглох".

Слышат ли призыв Валерия Попова добровольно оглохшие?

"ДРУГАЯ ЖИЗНЬ"

— роман Юрия Трифонова — попытка уйти от жизни этой. Но — в рамках ее. Трифонов — бытописатель, в его книгах нет фантазмагии Аксенова, гротеска Попова, полного ухода в себя Битова. В "Другой жизни", как и в прочих романах и повестях Трифонова, ни фантастики, ни остранения нет: обыден герой, понятна — то есть объяснима описательно — его жизнь. Уровни автор-герой-читатель лежат в одной плоскости.

Однако герой ускользает от нас — от быта, то есть — по-прежнему оставаясь в поле зрения, но неожиданно приобретаемая самостоятельность, лишь в одном — в своем ремесле, профессии, искусстве. Профессиональность — способ вырваться, выплыть из медленного, но вязкого потока будней. Куда? В историю.

Трифонов, может быть, острее других в современной советской литературе страдает от этого комплекса неполноценности — отсутствия родословной. Родословной во всех ее масштабах: мы не помним никакого родства. Мы не видим, не ощущаем себя частью процесса. Не процесса созидания "Само-

го Совершенного Общества” — это-то ощутить несложно: хва-тит пары передовиц “Правды” и плаката на соседнем доме.

Нами за десятилетия потеряно чувство преемственности. Кто мы, откуда мы, куда мы идем? Будущее иллюзорно, прошлое проклято и отсечено, настоящее ужасно бессмысленностью. Порвалась связь времен. Кто сказал, что Пушкин и Чаадаев наши предки — да они люди другого мира, другого уровня мыслей, чувства, культуры. А что ждет в этом обществе наших детей? Туманная “демократизация”? Китай?

Огромный пласт российской истории рухнул, и долгие годы новое общество занималось не наведением мостов, а углублением пропасти.

Перекинуть мостик в будущее не удастся — просто некуда. Остается прошлое, потому что без осознания своего места в истории — любой, хоть истории собственной семьи — человек не может, не должен жить. В конце концов, если забыть отца, отречься, осудить его, то ничего изменить все равно нельзя — ты его сын.

Связи с прошлым, старательно отбрасываемые долгие годы, наращиваются снова. Комплекс неполноценности подавляется. Человек осознает себя продолжателем. Традиционная тема “отцов и детей” решается в обратном порядке: дети ищут отцов.

Исторические поиски героя “Другой жизни” — историка по профессии — обусловлены еще и родственными мотивами и потому оправданы вдвойне. Продолжая дело отца, он исследует судьбу пропавших документов Третьего отделения.

— Ты, наверно, думаешь, что я рехнулся? Чепуха, я здоров. Но ты ведь знаешь мою идею: нить, проходящая сквозь поколения... Если можно раскапывать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед”.

Но поиски корней — дело скользкое, опасное и стремительно развивающемся обществу строительства — не нужное. А герой ищет связи: ничто не возникает из ничего и не уходит в никуда — полагает он. И вот идея всеобщей преемственности касается царской охранки — и что? Его традиции ушли в никуда? Или... или списки агентов не так уж пришлось изменять?

Поиски терпят крах: работа остановлена, герой уничтожен морально, а затем и физически. Нет, не убит — умер сам. А что же Трифонову с ним делать? Герой хочет быть звеном в цепи, а его хотят видеть винтиком машины. Битвы не происходит, даже жесткого противостояния нет — исход предрешен. Попытка ухода в “другую жизнь” терпит крах.

* * *

Поиски подцензурной словесности ведутся разрозненно, нет ни съездов, ни программ. Нет школ, направлений, учителей и последователей. Есть писатели, которые в одиночку чего-то ищут. Анализируют мир и человека. Основывают экспериментальные жанры и пишут экспериментальную прозу. Ведется плодотворная полемика о будущем русской литературы.

А. Синявский, размышляя о российском литературном будущем, возлагает надежды “на искусство фантасмагорическое с гипотезами вместо цели и гротеском взамен бытописания. Оно наиболее полно отвечает духу современности. Пусть утрированные образы Гофмана, Достоевского, Гойи и Шагала... научат нас, как быть правдивым с помощью нелепой фантастики”.

И еще. Все писатели, о которых шла речь, нашли подходящие инструменты для вскрытия современного им бытия. Аксенов и Попов строят даже целый квазимир, чтобы лучше изучить мир реальный. И все же это искусство анализа, а не синтеза. Ему не хватает обобщающей силы, что и естественно — слишком мал ученический период.

Но есть уже весть из этой будущей литературы. Как всегда, не совсем понятная, трудно ощутимая, но бесспорная. Это “Зияющие высоты” Александра Зиновьева.

Зиновьев — это прорыв в будущее. Может быть, образец, на который еще долго будут равняться. Умолчать о его книге в разговоре о русской словесности уже просто невозможно. “Зияющие высоты” станут энциклопедией советского общества. Но не каталогом, а творческим эквивалентом социальной

и культурной его структуры. Некой проявившейся только теперь формой художественного познания, опытом приложения искусства к обществу, поставленным на столь широком материале, что уже непонятно, где испытатель, а где испытуемые.

* * *

Мы пишем о советской литературе и великолепно создаем, как многого в статье не хватает, и сколь многие не названы. Ну, скажем, Булат Окуджава, с его псевдоисторической прозой — умной, ироничной, фантастической, или Василий Шукшин, отличающийся от всех "деревенщиков" тем, что говорил не о деревне, а от лица деревни, или современный Гиляровский — Владимир Солоухин, или сказавший правду о войне Василий Быков.

Итак, нет многого. Но статья не претендует на всеохватность, желая лишь выявить наиболее интересные, на наш взгляд, пути подцензурной советской литературы. А, кроме того, есть святое авторское право на субъективный подход, которым мы и решили воспользоваться в этом далеко не полном обзоре. Возникает, естественно, традиционный вопрос: а что же дальше?

...Дырявая посуда подцензурной советской литературы, давно перегруженная семью тысячами членов Союза писателей с мощным балластом орденосцев-классиков, еще держится кое-как. Эти пятеро — Аксенов, Битов, Попов, Искандер, Трифонов — и несколько писателей еще (увы, как мало их) работают на аврале.

Как маленький экипаж среди толпы праздных и неумелых пассажиров качают помпы и заводят пластыри на зияющие пробоины.

Аксенов — в тоске по чуду творческого восприятия мира.

Битов — в тоске по личности.

Искандер — по цельности мира.

Попов — по нормальной простоте отношений.

Трифонов — по месту в истории.

И в тоске этой, в муках, на аврале "дырявой посуды" все-таки рождается литература.

Владимир ВИШНЯК

НЕСГОВОРЩИК С АНТИКУЛЬТУРОЙ

О книге Е. Г. Эткинда "Записки незаговорщика"

СОЮЗ НАУКИ И КГБ

Когда в январе 75-го года в Париже в вестибюле отеля "Пари-Хом" я вдруг увидел Ефима Григорьевича Эткинда, стало как-то и радостно и жутко. Радостно от встречи, жутко от судьбы. Уж если Эткинд оказался по эту сторону железного занавеса, значит нас и вправду вышибают, и настало время, по значению равное военной страде.

В течение 74-го года газеты и радио Свободного мира (а я в нем с 72-го) сообщали об Эткинде и протестах западных деятелей против расправы с советским ученым. Я же, зная его твердую ориентацию на неотъезд, почему-то надеялся, что в конце концов все "образуется".

В октябре сообщили о переселении Эткинда в Париж, и, приехав туда в свое отпускное время и остановившись в том самом отеле, я собрался уже было разузнать где он, как вдруг мы столкнулись с ним нос к носу. И сразу же ощутился ужас вынужденного ухода из привычной среды, отъезда навсегда, пусть даже в Париж, из такого города как Ленинград, где ты вырос и прожил долгую интересную жизнь.

— Навсегда? — спросил я, надеясь, что, быть может, хотя бы формально, как это бывает, уехал он на год или на два.

— Навсегда...

— А как все-таки могли выгнать из института профессора? Ведь это же Ученый Совет решает.

— А все проголосовали "за".

— При тайном голосовании?

— Да, при тайном.

— Как же это могло быть?

— А все испугались. На Ученом Совете сидели кагэбэшники.

— Невероятно все же. Такого, по-моему, даже при Сталине не было.

— А я как раз сейчас обо всем этом пишу. Выйдет книга, и все узнают, как это случилось и почему я здесь.

Эткинд был одет в джерсевый спортивный костюм: он перетаскивал вещи из какого-то номера в громоздкий черный драндулет, перевозил приятеля на своей сэкондхэндовской машине. Мне вспомнилась наша первая встреча в 57-ом году в Московском институте иностранных языков, где мы вместе тренировались в синхронном переводе. Я знал тогда, что он доцент Ленинградского пединститута имени Герцена, где преподает французскую литературу, что защитил кандидатскую о Золя.

Меня тогда уже поразила его разносторонняя интеллектуальная активность. Вряд ли на фестивале были еще доценты литературы, непрофессионалы в синхронном переводе, работавшие синхронистами. Сейчас, в Париже, я подумал, что к фестивалю его привлек тот самый культурный интерес к Западу, которым отмечены написанные им с тех пор книги. Вот в той самой "Поэзия и перевод", что я взял с собой из Москвы, в первой его ученой книге для массового читателя, рассказывается о переводах из Гюго, Рембо, Верлена, Превьера, Гете, Шиллера, Гейне, Брехта, Шекспира, Байрона, Шелли, Бернса и многих, многих других, преимущественно западно-европейских поэтов.

Ефиму Эткинду присуще особое интеллектуальное любопытство, которое я назвал бы "инстинктом продолжения рода интеллектуалов, инстинктом сохранения подлинной культуры". Этот инстинкт заставил Эткинда многим рисковать, подавлять в себе страх, когда он появлялся, защищать и спасать Бродского, помогать Солженицыну сохранить "Архипелаг".

Не случайно молодые интеллектуалы Ленинграда попросили именно Эткинда написать рецензию на вступительную статью Михаила Хейфеца к самиздатскому пятитомнику Иосифа Бродского. И не только потому, что Эткинд понимает, что такое Бродский и что такое член ССП Прокофьев, но и потому, что знали: Эткинд не побоится — ради подлинно интеллектуального дела он способен на риск. Мог ли Эткинд, когда писал рецензию, предположить, что самиздатский пятитомник попадет в лапы КГБ? Что у Хейфеца и Марамзина, которые готовили пятитомник, будет обыск и что рецензия окажется на столе у кагэбистского следователя? Разумеется, мог. Весь опыт жизни говорил, что это весьма и весьма вероятно.

Книга, о которой сказал Эткинд, вышла в 77-ом году в лондонском издательстве "Интернэшнл эксчэйнч". Все стало более ясно, но и более страшно. Страшно от того непробудного поголовного рабства, в котором живут ленинградские преподаватели и писатели. Книга дает пищу для бесконечных размышлений об этих людях и им подобных, о режиме, о прошлом и настоящем. Хочется сказать о многом сразу, но прежде всего два слова о книге, как таковой, для тех, кто ее не читал. Не ошибусь, пожалуй, если скажу, что это впервые опубликованная летопись основных событий в литературной и академической жизни России с 47-го года по 74-ый, событий, в которых автор участвовал сам или же далеко не бесстрастным очевидцем которых был. События увидены глазами вполне лояльного советского гражданина, воспитанного к тому же в духе идей социализма (до сих пор убежденного, кстати, что "марксизм это научная теория, основанная на изучении экономики и закономерностей смены одной обществен-

но-экономической формации другой"), но вместе с тем глазами интеллектуала, противостоящего в допустимых формах воинствующему антиинтеллектуализму и пустопорожней антикультуре.

В наши дни товарищи из Большого дома уже не за каменной стеной безгласности и безнаказанности. Кто знает, что будет завтра. Ведь вот можно было без опасения огласки избивать, а потом пустить в расход старых большевиков — Постышева, Косиора, Эйхе, Рудзутака, Межлаука и тысячи других, и вдруг глава государства рассказал об этом всему миру в своем секретном докладе. И тогда, как говорят в России административные деятели, кой у кого головы полетели. И товарищи из Большого дома действуют осторожно, чтобы вдруг не обвинили в нарушении норм социалистической законности и в забвении ленинских принципов партийной жизни. Товарищам не хочется заниматься нечистым делом самим. Они присматриваются, разнохивают, каким человеческим материалом располагают для осуществления вроде бы демократическим способом предусмотренных их производственным планом карательных мероприятий. В данном случае нужны были профессора. Они пришли к ним на собрание, и оказалось, что профессора не подкачали.

Если подозревается нарушение закона, то это ведь нужно доказать на открытом суде. Никто и не подумал об абсурдности и дикости вмешательства тайной полиции в вопрос о том, кого цитирует "обсуждаемый" в своем "Разговоре о стихах" — Пастернака или Луконина. Сотрудникам КГБ нынче дело до всего. Они теперь носят элегантные костюмы, читают Шевцова, знают иностранные языки. "Не правда ли, Владимир Никанорович, мы уже не те?" — говорят они и отравляют ядовитой папиросой честного писателя, настоящего русского патриота.

Чтобы быть отравленным, нужно быть все же Войновичем. А что грозило бы члену Ученого Совета или члену Союза писателей, проголосовавшему против выдворения Эткинда? При условии, что посредством современной криминалистической техники можно было бы установить, кто в тайном

голосовании осмелился протестовать (хотя мало вероятно, что этим стали бы заниматься). Что грозило бы? Тюрьма? Ссылка? Не те времена. Обнаруженного тайным способом протестанта в худшем случае не пустили бы в очередную поездку в капстрану, или появилось бы какое-нибудь препятствие в опубликовании работы. К нему, быть может, стали бы присматриваться. Все это, разумеется, неприятно, но неужели так силен страх перед возможностью немножечко потерять? Неужели нельзя чуть-чуть поступиться какими-то благами ради спасения коллеги? И Эткинд задает риторический вопрос: а если бы в бюллетенях тайного голосования было написано: расстрелять, повесить, четвертовать, помиловать, — нужно подчеркнуть, — как поступили бы тогда члены Ученого Совета? Нетрудно понять, что все эти ученые мужи — домашневы, парыгины, кожуховы, кодуховы, докусовы, кульбы, эвентовы, — все эти ученые дамы, — щукины, тураевы, афанасьевы, — обрекли бы своего коллегу на смерть, только не лишиться бы привилегий.

"ПАДАЮЩЕГО ТОЛКНИ!"

Эткинд объясняет поведение своих коллег страхом. Да, конечно, страх был. Помимо страха оказаться на плохом счету и стать невыездным, действовал еще, очевидно, какой-то мистический страх перед возрождением в полном цвете классического сталинского фашизма. Многим им, в отличие от осведомленного и любознательного Эткинда, были неизвестны или неясны сдвиги, происходящие в обществе и государстве. Сформировавшись в двадцатые и тридцатые годы, они смертельно напуганы. Им и невдомек, что, прояви они хоть капельку мужества, на них не стали бы слишком напирать. (Известен случай, происшедший с Буденным, когда Сталин хотел его арестовать. Буденный, находившийся тогда у себя на даче под Москвой, организовал из своей личной охраны так называемую круговую оборону, и энкавэдэшники отступили. Сталину это даже понравилось, и Буденный был спа-

сен.) Ну объявили бы члены Ученого Совета своему непокорному коллеге порицание, пусть даже выговор, — скажем, за отсутствие политической чуткости, обнаруженное в частном письме в вопросе о Венгрии и Чехословакии, ведь рецензия на вступительную статью Михаила Хейфеца о Бродском — в сущности, частное письмо. Ну разъяснили бы товарищам из Большого дома все про своего коллегу, дескать, не подумал, что слова могут иметь вредный политический смысл. Напомнили бы, что некто Лернер, который дал ход делу Бродского статьей в "Вечернем Ленинграде", озаглавленной "Окололитературный трутень", был осужден впоследствии и посажен как мошенник, а Воеводин, представивший суду справку якобы от имени Комиссии по работе с молодыми авторами при ССП, был осужден Ленинградской писательской организацией за подлог. Могли бы напомнить, что Союз писателей признал суд над Бродским ошибочным и что частные определения об Эткинде были судом сняты. Словом, Ученый Совет, будь он из людей нетрусливых и совестливых, мог бы отстоять Эткинда, даже несмотря на его сакраментальную дружбу с Солженицыным. (Дескать, хранил, но не распространял.) Однако никто ничего и не пытался выяснить, никто своего коллегу не защитил.

И, пожалуй, не только из страха. Объяснить поведение ученых коллег можно еще и тем массовым гипнозом, тем явлением массовой психологии, которое Эткинд называет эскалацией. Эскалация — это разжигание и разгорание настроения массы. Она может действовать в масштабе страны; скажем, по схеме "газета — трубоукладчик Денисов — газета — суд", или в масштабе ученого или писательского собрания, когда происходит движение ярлыкования по некоторой восходящей.

На Ученом Совете, в сущности, разыгрался тот же цирк, тот же спектакль, который, как вспоминает Эткинд, устраивался некогда во времена шумных, эффектных "проработок".

Совершается некое действие, и у члена коллектива возникает желание участвовать в ритуале и даже отличиться рвением. Его так и тянет помитинговать, причаститься к великой

силе по имени класс. Он слышит какие-то страшные слова из Справки КГБ: "Письмо молодым евреям, стремящимся в эмиграцию", "Протаскивание взглядов, враждебных советскому строю..." и с замиранием сердца от значительности события чувствует, что сейчас будет довольно-таки занятный спектакль, а к тому же Эткинд кто? Е в р е й! И к тому же лезет на рожон, преклоняется перед буржуазным Западом, протаскивает в свои книги поэтов-евреев и затирает поэтов настоящих, русских. Я вот настоящий русский, а не могу позволить себе никаких отклонений!

"ЗВУК ЧУЖДЫЙ НЕВЗЛЮБЯ"

Да, все, что происходило 25 апреля 1974 года на Ученом Совете в герценовском пединституте и затем 8 мая на малом Ученом Совете — гуманитарных факультетов, — а также на Секретариате Союза писателей в Ленинграде, — все это следствие не только страха, но и эскалации темных инстинктов по принципу "падающего толкни", то есть "бей, кого бьют", на всякий случай, чтобы не били тебя, ибо в подсознании засел "крикогубый Заратустра": "тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас".

К тому же, как уже отмечалось, Эткинд для большинства присутствующих прежде всего еврей, а не профессор. Не случайно проректор по научной работе профессор Кожухов оговорился, назвав Эткинда Эвентовым, поскольку Эвентов для него прежде всего еврей, а не профессор советской литературы. И Пастернак, и Маршак, и Мандельштам для него прежде всего еврей, а не замечательные русские поэты. Так было всегда, и так будет, пока Россия и в самом деле не воспрянет ото сна. Ведь вот даже Барклай, прославленный русский полководец, — вспоминает Эткинд в своей книге, — не разделил лавров победы, и Россия забыла о нем, — как писал Пушкин, — "в имени его звук чуждый невзлюбя". Как много всегда значило для неевропеизированного русского человека звучание слова! Сила звучания имени. Это неплохо поняли русские

революционеры, и в особенности большевики, изменив свои неблагозвучные для русского уха фамилии. Сталин, пестуя юдофобство, акцентировал прозвище, которое Ленин дал Троцкому: "иудушка", и широкие массы трудящихся недвусмысленно поняли: все они иуды-предатели, жида проклятые. Ленин, разумеется, был лишен христианского религиозного сознания и биологического антисемитизма. Он просто любил Салтыкова-Щедрина и, назвав в 1912 году Троцкого иудушкой, не имел в виду ничего, кроме того, что организатор августовского блока своим "двурушничеством" напоминает Порфирия Владимировича Головлева, которого в семье называли Иудушкой. Ни в каком другом государстве однофамильцу человека с одиозным именем не пришлось бы испытывать тех тягот, которые испытывали в России однофамильцы Троцкого. Эткинд в книге вспоминает замечательного литературоведа-англичанина Тронского, который был некогда Троцким, но жить с такой фамилией не мог. Лучше было умереть, чем носить такую фамилию.

Рассуждая о магии звука для людей с конкретизирующим сознанием (в России преобладающим), Эткинд вспоминает опубликованное в "Советской культуре" письмо одного читателя, возводившего фамилию "Солженицын" к "солжецу с империалистами, падающему перед ними ниц". "Человек с такой фамилией, — пишет читатель, — иным быть не может, и, конечно, заслуживает истребления."

В книге объясняется, что автор еврей, но лишь для российских антисемитов и расистов, что он по культуре русский, что в культурном смысле он ничем не отличается от своих сверстников, так называемых представителей коренного населения России, сверстников, с которыми у него общие школа, армия (три с половиной года фронта), университет, преподавательство и литературоведение, русское и западноевропейское. А объяснить это западному читателю необходимо, так как "еврей" для него категория не расовая, как в Советском Союзе, а религиозная, стало быть, культурная. Об этом свидетельствуют вопросы, которые людям из Советского Союза задают здесь на Западе. "А что у вас там у католиков в пас-

порте тоже значится "католик"? "А у мусульман также значится "мусульманин"? "Нет, — отвечаете вы, — не значится". "А почему же тогда евреи значатся в паспорте как евреи?" Или вот вспоминается такой разговор: "Вы еврейка?" "Я была еврейка, а теперь я отношусь к "Чэрч оф Инглэнд". Или: "Вы носите звезду Давида из солидарности с евреями или просто так, как украшение?" "Да, я просто еврей, вот и ношу ее". "Простите, но как может быть евреем мужчина с такой викингообразной внешностью?" "А я стал евреем только год назад".

Объясняя сущность своего этнического и культурного происхождения, Эткинд в книге полемизирует с Сукоником, автором рассказа "Мой консультант Болотин", опубликованного в 3-ем номере "Континента". Эткинда оскорбляют рефлексии Суконика о том, что Соломон, лакей хозяина харчевни из чеховской "Степи", породил комиссаров, которые в свою очередь породили наркомов, которые породили Болотина, героя рассказа, этого, как называет его Суконик, "жалкого последыша линии". В рассуждениях Суконика о Болотине Эткинд различает наиболее неприятную разновидность антисемитизма — антисемитизм еврея. Суконик же в "Вестнике Русского Христианского Движения" № 123 отвергает этот упрек, объясняя неприглядность героя-еврея присущей ему противоречивостью и безпорностью атеистического варианта еврейского сознания.

Да, атеистический вариант еврейского сознания действительно безпорен и противоречив, и в размышлениях Суконика о библейском и послебиблейском еврейском сознании на страницах христианского религиозного журнала чувствуется боль за послебиблейскую судьбу евреев, за ущербность их послебиблейского психического склада. Эти размышления, однако, вряд ли могли бы разубедить тех, кто в рассказе о консультанте Болотине усматривает антисемитизм, ибо рассказ этот более всего показ, а показ говорит сам за себя: герой рассказа — еврей — личность отвратительная. И бесноватый Соломон, сжегший полученные им в наследство деньги, по всей видимости, в знак презрения к власти денег, мечтаю-

щий о перераспределении богатства, и вправду прародитель евреев-комиссаров. Вот только не совсем ясно, действительно ли Болотин наследник наркомов-евреев, наследников комиссаров-евреев. Разве Болотин явление национально-еврейское? Разве не просто советское? И корни его совсем не обязательно в еврейских наркомах и комиссарах, ведь любой инструктор райкома, любой лектор по диамату, любой советский сновник или дипломат в такой же мере непроницаем и непрошибаем, как Болотин.

Однако, несмотря на отвратительность героя рассказа еврея, вряд ли все же Эткинд прав, усматривая во всем этом антисемитизм. Антисемитизм еврея? Ну, это же несерьезно! Если, конечно, не произошло новообращение или если еврейское происхождение не скрывается. Суконик же не прозелит и своего еврейского происхождения не скрывает. Неприятие Эткиндом рассуждений Суконика чисто нравственное. Оно основано на простой житейской этике: не гоже еврею типизировать неприятные черты еврейского характера. О них пока прилично рассуждать только в узком кругу близких по духу. Евреи пока еще не такие как другие народы по отношению к ним огромных масс людей на свете. За пределами СССР это особое отношение основано не на особенностях еврейского носа, а на предрассудках религии. Вопреки простой логике о том, что евреи Христа не распинали, а хоронили, вернее, так и не смогли похоронить по еврейскому обряду, так как в День Первый Христа уже не было там, где Он был в День Шестой положен; вопреки простой логике о том, что на муки Христа обрекли и распинали Его не евреи, а римские стражники по приказу римского наместника; наконец, вопреки элементарной логике о том, что Христос был иудей, — в мире все еще есть в людях по отношению к евреям комплекс злобы: "За что вы Христа распяли, гады?" И хотя Папа Иоанн XXIII и постановил считать, что евреи никакие не христубийцы, тем не менее, если не в сознании, то в подсознании христиан этот комплекс еще остался, так как иррациональное всегда сильнее рационального. В силу этих специфических причин евреем

пока еще не пристало публиковать повесть, основное содержание которой — эстетическая отвратительность и бездуховность еврея как определенного социального типа. Таков ход рассуждений, который угадывается в основе неприятия Эткиндром настроенности Суконика. Но все дело в том, что Суконик в отличие от Эткинда был в пору тридцать седьмого года и во время войны еще в общем ребенком, и опыта общения с людьми у него, соответственно, меньше. Оттого-то он и не обременен грузом тех этических соображений по части еврейства, которыми руководствуется выдавший виды Эткинд.

Не могу не вспомнить в связи с этим и без того бесконечно мной вспоминаемого ровесника Эткинда Александра Аркадьевича Галича. Как известно, Галич принял христианство перед своим отъездом на Запад (оценивать нравственно подобного рода шаг следовало бы в каждом отдельном случае особо). У Галича, как прозелита, могло уже не быть сдерживающих импульсов для рассуждений о роковой и неприглядной роли евреев в русской революции и в советском режиме. Уж у него жизненных наблюдений и мыслей на этот счет наверняка было немало. Но мы не найдем у Галича ни до, ни после его крещения евреев неприятных, жалких в своей слепоте, носителей духа разрушения. Наоборот, евреи у Галича по-человечески приятны, и совершают они иррациональные героические поступки, причем не вместе с массой, с классом, а индивидуально.

ЗАГОВОР ЭТКИНДА...

Но вернемся к книге. Что имел в виду автор, называя себя незаговорщиком? Нетрудно видеть, что и обвинение в заговоре, и непризнание обвинения, выраженное словом "незаговорщик", понимаются автором широко. Это не просто нависшая уже над ним опасность политического обвинения в тайном заговоре вкупе с Хейфецом и Марамзиным против советского общественного и государственного строя

— это сведение счетов за многолетнее неподчинение неписанным законам системы, за "злонамеренную глухость к задачам дня", как это их понимают наверху. Ведь Эткинд "систематически подрывал основы". Он протаскивал в свои книги не тех, кого надо (как и тех, кого не надо).

Уже в первой своей книге "Поэзия и перевод" (63 год) Эткинд отдает предпочтение евреям-космополитам. Классики — Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Брюсов, Щепкина-Куперник — это понятно. Но почему именно эти евреи — Пастернак, Маршак, Шенгели, Антокольский, Левик, Шор, Заходер? А если не евреи, то пострадавшие от власти ущербные Ахматова, Хлебников, Заболоцкий, Татьяна Гнедич. А где же наши русаки — Сергей Васильев, Владимир Луговской, Михаил Луконин, Александр Прокофьев, ведь и они занимались переводом! Но и этого ему мало. В 63-ем году, когда у нас в стране проводилось общественное мероприятие — борьба с тунеядцами, Эткинд встречал куда не надо, мешал, срывал. У нас ведь принцип: "Кто не работает, тот не ест". И поэтому в Ленинграде был устроен показательный процесс над тунеядцем Бродским с привлечением широкой общественности. Эткинд же выступил на суде в защиту тунеядца, утверждая, что тунеядец, который к тому же еще и еврей, замечательный русский поэт! Но и этого ему мало. В 68-ом году во вступительной статье к двухтомнику "Мастера стихотворного перевода" в серии "Библиотека поэта" он позволил себе заявить, что "в известный период, особенно между XVII и XX съездами, русские поэты, лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разговаривали с читателями языком Гете, Орбеллиани, Шекспира и Гюго". Что он вчера родился? Разве он не понимает, что время оттепели прошло, что сейчас, как никогда, обострилась классовая борьба, что контрреволюция снова подняла голову, и приходится подавлять ее танками, что в связи с этим необходимо еще больше укреплять коммунистическую идеологию? Ведь не войди мы в Прагу 21-го августа, бундесвер вошел бы туда 22-го*! Нет, Эткинд все прекрасно

* Фраза, услышанная мной от близкого друга, окончательно укрепившая мое решение покинуть Россию.

понимает. Он строит из себя наивного простачка! Но и этого ему мало! Ему непременно надо помогать литературному власовцу сохранить клеветническую рукопись! Однако все пределы приличия Эткинд перешел в 73-ем году, когда в рецензии на вступительную статью Хейфеца к подпольному изданию пятитомника стихов тунеядца Бродского написал: "...с той стороны петли и бомбы, с этой — танки и автоматы. В дни Венгрии родилось отвращение к империализму, но понимание безвыходности. По контрасту 56-ой год был грандиозной встряской. Иосиф Бродский прав, ссылаясь на него. А 68-ой? Уже предано забвению все сказанное на XX и XXII съездах, уже заткнуто в яму зловещее дело Кирова, уже давно расправились с простодушным тираном Н.Х. Ну, на этом фоне танки в Праге никого удивить не могли". Как можно понимать это заявление? К какому именно империализму родилось отвращение? К американскому? Всем ясно, что он хочет сказать. И такой антисоветчик воспитывает нашу молодежь? Публикует книги огромными тиражами?

Вот эта самая настроенность идет, быть может, также и от зависти, от своего рода комплекса неполноценности, дескать, он вот такое может, а я не могу, дудки! Пусть он тоже не может! (Психология, подмеченная Амальриком: если мне плохо, а соседу хорошо, то я буду стремиться не к тому, чтобы мне было тоже хорошо, а к тому, чтобы соседу было тоже плохо).

...И ДОВОДЫ РАССУДКА

Если дать одурманить свое сознание мистической силе советских заклинаний и принять на веру упомянутый ход рассуждений, то, конечно, Эткинд покажется политическим заговорщиком. Но здоровый неодурманенный рассудок сразу схватит абсурдность обвинений в подрыве основ и антипатриотизме. "Протаскивание" Пастернака, Мандельштама, Маршака и "ущербных страдальцев" (как о них было сказано во внутренней рецензии Детгиза) Ахматову, Цветаеву, Заболоц-

кого в книгу "Разговор о стихах", книга прошла, как водится, шестистепенный редакторский контроль, двухстепенный партийный, двухстепенный ведомственный и цензуру. Это подрыв основ? Защита Бродского на суде, который официально был признан ошибкой? Хранение рукописи, которая по закону никак нигде не была квалифицирована, причем хранение, а не распространение! Это подрыв? Да мало ли что я могу хранить и не распространять! Письмо молодым евреям, стремящимся в эмиграцию? Но ведь это фольклорное название частного письма! Мало ли что можно написать в частном письме! Слова "боритесь здесь, а не там"? А разве сказано, что надо бороться с советской властью? Разве это не может означать, что надо бороться, скажем, с пошлостью, мешанством, своекорыстием, трусостью, цинизмом? Разве эта фраза не может свидетельствовать как раз об обратном, о патриотизме ее автора, которому судьба страны не безразлична? Таковы доводы здравого, свободного, незатуманенного рассудка. В плоскости этих доводов Эткинд никакой не заговорщик, а просто несговорщик с трусами и мракобесами. Если дать волю изощренной фантазии в плоскости Справки КГБ, то Эткинд покажется и впрямь заговорщиком. Все дело в том, что эти две плоскости, как говорят математики, взаимно ортогональны — они не сходятся. Чтобы они сошлись, причем в плоскости здравого рассудка, необходимы дальнейшие сдвиги в массовом сознании, а для этого необходима гласность.

Книга "Записки незаговорщика" произвела бы взрыв в сознании многих, будь она опубликована в СССР. Но выход этой книги даже здесь на Западе уже разрывает броню безгласности и хотя бы моральной безнаказанности, которой окружены устроители постыдных спектаклей и их покорные исполнители, как филолог Георгий Бердников, доносами способствовавший аресту своего любимого профессора Григория Александровича Гуковского, умершего в 49-ом году под следствием сорока восьми лет; это — литератор Евгений Брандис, выступивший в 49-ом году в роли свидетеля обвинения на суде над историком русской литературы XVIII века Ильей

Серманом, сообщающая о "еврейско-националистических настроениях" подсудимого (из-за чего Серман получил пятнадцать лет заключения); это — герценовед Яков Эльсберг, погубивший доносом и лжесвидетельством индолога Евгения Львовича Штейнберга; это — Александр Коваленков, теоретик поэзии, преподаватель Литинститута в Москве, по доносу которого на фронте был арестован старый коммунист Федор Левин; это — "поэт" Михаил Луконин, особенно отличившийся своей бандитской сущностью на собрании, которое избивало и изгоняло Пастернака.

Когда Эткинд писал, что после Венгрии родилось отвращение к империализму, он и в самом деле, без всяких импликаций (я в этом уверен), представлял себе империализм в самых общих категориях. Вместе с тем он понимал, что рецензию могут прочесть сотрудники КГБ, в общих категориях мыслить не умеющие, для них все всегда конкретно и недвусмысленно. Его, наверно, в какой-то момент увлекла мысль о том, что конкретность империализма в данном случае еще придется доказать. Мол, с ними еще можно поспорить в случае чего. И в этом, быть может, что-то от донкихотства, что-то от пушкинского озорства.

Заурядный советский циник и прагматик скажет на это, что и м и доказывать ничего не надо, заметут, и делу конец, но Эткинд не приемлет такой установки, он, вопреки советскому опыту, готов вести с н и м и диалог, если придется. И он и в самом деле, когда его вызвали в Большой дом, ведет диалог с н и м и в лице следователя Рябчука. Эткинд просит доказать, что империализм, который он имел в виду в рецензии, именно советский, а не французский или американский. Пусть Рябчук докажет, что Бродский антисоветский поэт! Пусть докажет, что Хейфец распространял рукопись рецензии!

Психологически эскалация инстинкта "падающего толкни", то есть "бей, кого бьют" — этого существенного фактора укрепления морально-политического единства Партии и народа — подкрепляется еще и тем, что широкий мир, как уже отмечалось, обо всех этих выступлениях не узнает.

Если бы все эти кульбы на Ученом Совете и дудины с чепуровыми на писательском собрании подумали, что Эткинд их ославит, пусть даже в книжке, которую в России широкая публика не прочтет, они постарались бы не поддаться инстинкту участия в ритуале избияния. Ведь многим из них случается ездить за рубеж и общаться там со своими зарубежными коллегами. Да и у себя дома тоже иногда встречаешься теперь с иностранными коллегами. Все же не хочется в их глазах некрасиво выглядеть. И в самом деле теперь не так уж трудно просто отказаться участвовать в ритуале. Ну, в конце концов, не пришел, и все. Даже без всяких причин. Неужели за это выгонят из института? Теперь во многих местах за это не выгнали бы. Одного моего знакомого партийного писателя в Московской писательской парторганизации заставляли подписать требование об исключении из ССП Пастернака, но он прямо перед всеми так и сказал: "Рука не подымается!" — И не подписал. И ничего, остался жив, и ни откуда не исключен. И кагэбэшники, конечно, знают теперь, что если надо организовать из писателей людоедскую команду, то на него надежды мало. Также и с Даниилом Граниным и Федором Абрамовым лучше по этому поводу дел не иметь. Данин, когда его вызвали в Ленинград на собрание по изгнанию Эткинда, ответил, что у него есть дела поважнее. Он в это время находился в Грузии. Отказался приехать на это собрание и Федор Абрамов. Не подкачают, разумеется, Дудин и Чепуров. Когда их вызвали в Ленинград (из отпуска где-то на юге), им самим захотелось поскорее проявить свой патриотизм посредством избияния коллеги. И, услышав партийно-кагэбистский звон, но еще не совсем поняв, где он, Дудин задудил в давнюю дуду: еврейский национализм — сионизм — фашизм. Он услышал слова: "письмо молодым евреям, стремящимся в эмиграцию". Из этой фразы он обратил внимание только на слово "е в р е я м", — и этого было достаточно, чтобы воскликнуть вслед за этим словом "сионизм", а затем "фашизм".

СОЛЖЕНИСТЫ И СКЕПТИКИ

В одном из своих многочисленных отступлений от драматического сюжета вынужденного ухода в эмиграцию автор рассуждает об интересах государственной безопасности. Он объясняет то, что в общем всем давно ясно, но чего до сих пор, как будто, еще никто не сказал. По ассоциации с судом, учиненным над ним, он вспоминает недавнее прошлое России. Зачем нужны были прогремевшие на весь мир Шемякины суды над Бродским, Синявским и Даниэлем, Галансковым и Гинзбургом, Литвиновым и Буковским и многими другими, не нарушившими ни одну букву советского закона? Что советское государство от этого выиграло? Ничего совершенно. А престиж его даже у западных коммунистов сильно подорван. Да и у советской молодежи все это способствовало крушению иллюзий. И получается в итоге, что большего вреда делу государственной безопасности, чем приносят сами функционеры ЦК и работники государственной безопасности не приносит ни один настоящий шпион.

Вот и сегодня та же история. Кому нужны суды над Щаранским и Орловым? Трудно приходится английским коммунистам, когда их по этому поводу интервьюируют. Они осуждают действия советской власти, физиономии у них кислые (по цветному английскому телевидению это особенно хорошо видно).

Эткинд в книге подымает важную моральную проблему: прав ли Солженицын, требуя от каждого полного неучастия в том, в чем ощущается ложь, или все же стоит поманеврировать, похитрить, "раскинуть чернуху" ради того, чтобы хоть в какой-то мере сказать людям правду.

Нередко российским писателям, ученым, художникам, артистам приходится отказываться от званий, присуждаемых им иностранными учреждениями. (Достаточно вспомнить пастернаковскую эпопею с Нобелевской премией.) Вот и Эткин-

ду пришлось отказаться от звания члена Международного ПЕН-клуба. Если не отказаться, то можно потерять доступ к читателю или зрителю у себя на родине. Для писателя или артиста это убийственно. Но если отказаться, то есть сделать то, чего от тебя ожидает власть, то это значит попустительствовать лжи и насилию. Так выходит с точки зрения Солженицына, и в сущности это верно.

Как бы то ни было, автор своей точки зрения не навязывает, и вопрос этот, представленный в форме диалога между солженистом и скептиком, так и остается неразрешенным. Думается, что всякое маневрирование ради возможности донести свои идеи до масс в обход властей оправдано, если от этого не хуже конкретному человеку, конкретным людям.

В Москве в различных учреждениях с подписантами поступали различно. В одних учреждениях выгоняли, в других понижали в должности, а в третьих даже не понижали в должности, а только ставили на вид для отчета перед вышестоящими инстанциями. И хотя любой функционирующий в этой системе индивид этой системой завязан, не все в ней потеряли человеческий облик.

Сейчас никто не требует от писателя или ученого, чтобы он писал или говорил, что "товарищ Брежнев весь свой огромный ум и талант отдает народу и борьбе за мир во всем мире". По-видимому, можно все-таки способствовать эволюции системы в направлении ее очеловечения.

Люди, бросающие смелый, открытый вызов системе лжи и порабощения, не могут не вызывать восхищения. Но можно ли осуждать Окуджаву, написавшего покаянное письмо в Союз писателей?

Стремясь сохранить доступ к читателю, Эткинд покаянных писем, правда, не писал, но иногда тоже маневрировал, стараясь "протащить" то, что способствует подлинному росту культуры, ведь и Пушкин маневрировал когда-то, позабыв свои юношеские турдефорсы.

Но Эткинд не поэт, значение которого понимает царь, и не поющий поэт со всероссийской и мировой славой. Эткинд ученый и, между прочим, еврей. Открытого вызова ученым или писателям он не бросал, паспорт свой серпастый-молоткастый властям не отсылал, но, когда дело касалось защиты подлинной русской культуры, в нем появлялся пушкинский задор без страха перед последствиями, в нем появлялась солженицынская стойкость в борьбе с мракобесами.

ЖУРНАЛ "ЭХО"

Вышел в Париже и продается

второй расширенный номер ежеквартального литературного журнала "Эхо". Журнал редактируется В. Марамзиным и А. Хвостенко и посвящен современному литературному процессу в России.

Номер открывает фотография поэта И. Бродского и художника О. Целкова на венецианском Бьеннале и поздравление Бродскому по поводу присвоения ему степени доктора литературы Йельского университета.

Основа номера — повесть ленинградского писателя Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня". Почти весь номер составляют также рукописи из России, из самиздата: рассказ Генриха Шефа "Митина оглядка", большая подборка стихов Владимира Уфлянда, стихи Елены Шварц из самиздатского журнала "37", публикация самой значительной поэмы Александра Введенского "Кругом возможно Бог" со статьей Михаила Мейлаха.

Читайте, кроме того, рассказы Давида Дара и Сергея Юрьенена, стихи Леонида Ентина, статью Иосифа Бродского о поэте Константине Кавафисе с переводами из Кавафиса А. Лосева, письмо Брежневу Г. Вишневской и М. Ростроповича и др. материалы.

Продается во всех русских магазинах. Цена этого номера 20 франков.

Только в Европе: Условия подписки в редакции — 60 франков (4 номера).

Адрес редакции: "Echo" c/o V. Maramzine, 302 rue des Pyrenees, 75020 Paris.



Лев ЛАРСКИЙ

ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ГЕРОЕВ! (из мемуаров ротного придурка)

Часть 3. САПЕРНАЯ ОДИССЕЯ

Я уже писая о постигшем меня разочаровании после того как, наконец, дорвался до фронта, движимый патриотическим порывом и стремлением к подвигу. Я думал, что окажусь среди "своих" в буквальном смысле этого слова, как будто бы во дворе в Новых домах. В моем представлении на войне граница между "своими" и "чужими" совпадала с передовой: по ту сторону были чужие, или враги, по нашу — свои. По наивности, я всех их валил в одну кучу, раз они все наши, советские. Но оказалось, что свои своим рознь.

Читатель, вероятно, помнит, какая катастрофа меня постигла в связи с таинственной пропажей моих очков. В какую-то минуту мне казалось, что "увести" их мог только уэллсовский человек-невидимка, но все произошло куда проще: очки, как и ушанку, увели солдаты того самого отделения, с которым я был во внеочередном наряде. Просто отделение

Продолжение. Начало см. в 29 номере журнала.

это оказалось из другой роты, в глазах которой я, разумеется, никак не был своим.

Вот это все и называлось солдатской совестью. — У своих не воруй, а только у чужих.

Когда я отказался стащить для офицеров, с которыми я находился вместе, "полковничье колесо", то тем самым попрал святая святых — эту самую солдатскую совесть.

Раньше мне никогда не приходилось красть. Даже моя китайская няня, водившая меня в мои пять лет в тянь-цзиньские бардаки, — и та считала воровство самым смертным грехом. Теперь, по прошествии четверти века, я могу чисто-сердечно признаться, что, несмотря на полученное воспитание, мне доводилось участвовать и в кражах, и в грабежах, особенно в тот период, когда я был писарем в стрелковой роте.

Собственно говоря, и по закону двора, у чужих также красть не возбранялось. Это было мне с детства известно. Например, в школе можно было красть все, что хочешь. И если бы не наш директор, Михаил Петрович Хухалов, который жил в школьном дворе и ходил не расставаясь с холодным оружием, пролетарская окраина растащила бы школу "по винтику, по кирпичику", как пелось тогда в популярной песне "Кирпичики".

Способствовали воровству и наши шефы с завода "Москабель", снабжавшие школу старым оборудованием и инструментом для занятий по труду и поставлявшие в школьную столовку алюминиевую посуду.

Казенное оборудование на социалистическом предприятии всегда находится под угрозой хищения. Похищенная соцсобственность на первом этапе коммунизма, как правило, шла членам коллектива на пропой. Поэтому для обеспечения общественного контроля и в помощь милиции на получаемом нами заводском инструменте был выдавлен глубокий штамп "украдено с "Москабеля".

Разумеется, эта информация предназначалась для взрослых строителей социалистического общества. Дети не понимали воспитательного значения этих слов и воспринимали их буквально: раз все равно ворованное, значит, и нам не



грех утащить! И тащили, несмотря на хухаловский кинжал.

Впрочем, во дворе я мог считаться "своим" и без воровства. От меня требовалось лишь не "лягавить". На фронте совсем другое. На фронте я был солдат, а у солдата, как я уже подчеркивал, должна была быть солдатская совесть.

Однажды, я, правда, чуть было не "слягавил" по милости своего друга детства и защитника Карла Маркса. Служил я тогда писарем в саперной роте, и оперуполномоченный особого отдела Скопцов сыграл на моей преданности пролетарскому интернационализму с целью получить "лягавую" информацию о мародерстве в нашей роте.

Выпивая как-то со своим закадычным другом, командиром роты Семькиным, он услышал из уст последнего слова, прозвучавшие для него, как вызов: "Мои люди, — сказал Семькин, — меня никогда не продадут!" Затем они поспорили по этому поводу на пол-литра. Как всегда, на меня выпал жребий стать орудием в руках особиста. О том, как я повел себя в этой ситуации, я еще расскажу, ибо, как известно, любую историю, в которой замешан особист, в два слова не уложишь. А пока вернусь к своим разочарованиям.

Прежде всего я разочаровался в своих дружках Ваське и Сашке. Мы, трое придурков из запасного полка, сговорились держаться вместе. Вместе пошли в одну роту, выдав себя за "курских". А получилось, что оба отвернулись от меня в беде, когда у меня украли очки. Из-за этого, еще числясь в ротных списках, я выбыл из строя. У Васьки в отделении стало не хватать одного бойца, и он зашипел на меня, как змей: "Из-за тебя мое отделение на первое место не может выйти! Знал бы, что ты такая б...дь, никогда бы с тобой не связался!"

Сашка ему вторил более интеллигентно:

— Ты нас-таки подвел. И зачем я тебя притащил на свою ж... Теперь взвод не сможет выйти на первое место!

Дружки заделались типичными службистами-хохлами, и обращаться к ним я должен был только официально: "товарищ старшина" или "товарищ сержант".

Во дворе каждого, кто бросал друга в беде, сразу причисляли к "лягавым", а Сашка, пока я был в роте, вместо

того, чтобы защищать меня перед начальством, сам еще на меня наступал. Самым железным аргументом было у него: "дружба — дружбой, а служба — службой". Однако впоследствии ему самому пришлось обратиться ко мне во время боев за Севастополь. Тогда я был уже в саперной роте и в трофейных очках, бежал на передовую с очень срочным донесением к полковому инженеру. Сашка окликнул меня, попросил воды — он лежал раненый в бедро. Санитары сделали ему перевязку и должны были за ним вернуться. Повторяю — донесение мое было очень срочным, но я не мог ответить ему: "дружба — дружбой, а служба — службой". Воды у меня не было, а до ближайшего колодца пришлось бежать километра три. Колодец оказался весь вычерпан. Пришлось спускаться вниз, на самое дно, на веревке... В общем, когда я вернулся с котелком воды, он меня даже не узнал, был в бреду. И тогда, к своему удивлению, я узнал, что Сашка мне вроде бы приходится своим, несмотря на то, что он выдавал себя за хохла, он ни с того ни с сего начал бредить на идиш (у нас в доме идиш был секретным языком, который тетя употребляла в конспиративных целях, когда хотела скрыть что-то от меня или от няни). Единственную фразу, которую я понял из Сашкиного бреда, была: "гейт ир ин дер эрд мит айре мициес" (что на солдатском жаргоне означало — а пошли вы все на х... с вашими добрыми намерениями). До сих пор не могу понять, кому он адресовал эти слова, почти испуская дыхание.

Нет, не так я представлял себе фронтową дружбу и вообще отношения на фронте. Замечу к слову, что история с Сашкой меня кое-чему научила. Своих подпольных единоплеменников, которых я потом встречал немало, я научился распознавать и за нос водить себя больше не давал. Разобравшись более-менее в людях, я всей душой потянулся к животным, когда меня списали из стрелковой роты в обоз. Животные, по крайней мере, не скрывали своей национальности и не воровали. Кое-какой опыт общения с миром животных я имел в детстве. Я уже упоминал, что у меня была черепаха Синь, величиной с суповую тарелку. Я с ней разговаривал по-китайски, и она меня понимала. Папа мне как-то объ-

снил, что черепахи живут очень долго, и поэтому моя Синь обязательно проживет до тех времен, когда во всем мире построят коммунизм. Но, к ее несчастью (а может, и к счастью), моя любимая черепаха до коммунизма не дожила. Из-за няни, которая была заражена "пережитками проклятого прошлого", как говорил папа.

Няня приехала к нам из деревни зимой, а черепаха в это время спала где-то под кроватью. Весной она проснулась и, к ужасу няни, стала ползать по комнате. Разумеется, няня, с ее богатым воображением, решила, что это нечистая сила, сатана, схватила икону и стала черепаху крестить, чтобы изгнать сатану вон. Когда же это не помогло, она шваброй вытолкала беднягу Синь на балкон и сбросила ее с пятого этажа.

Если читатель помнит, был у меня еще кот Вундеркац, которого я пытался дрессировать в амплуа троцкистско-зиновьевского двурушника. Правда, в отличие от троцкистско-зиновьевских двурушников, которых товарищ Сталин почти всех перевел в период нарушения ленинских норм, кот Вундеркац дожил до глубокой старости, ничуть не поумнев. Ужившись с Вундеркацом, я на этом основании решил, что смогу поладить и с конями и что они будут меня слушаться.

"СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ..."

Прежде чем рассказать о своей службе в полковом обозе, я вкратце опишу историю, предшествующую моему переводу. Читатель уже знает, что мне страшно везло на всякие ЧП. Но такого ЧП не только мне, но и всем его многочисленным участникам, думаю, никогда больше в жизни не довелось пережить. Оно обошлось без человеческих жертв, но страху нагнало такого, что еще долгое время и у нас в полку, и в вышестоящих политинстанциях при одном воспоминании о нем дрожь проходила по коже. Многие мысленно благодарили судьбу за то, что все обошлось (только мысленно, поскольку Особый отдел сразу же после ЧП взял со всех подписку о неразглашении) .

Дело едва не приняло политический характер со всеми вытекающими отсюда последствиями. Немало полетело бы голов, немало бы начальства загремело в архипелаг ГУЛаг, столь талантливо описанный Солженицыным*.

К счастью, параллельно с Особым отделом этим ЧП занимался аппарат ЦК, и рутина партаппарата взяла верх. Дело приняло обычный в таких случаях ход: шумиха, неразбериха, выявление виновных и, наконец... наказание невиновных. Из-за вкравшейся в текст решения канцелярской описки — вместо нашего "323 полка" написали "319", — карающая десница прошла мимо нас и обрушилась на другое подразделение, в котором никакого ЧП не произошло.

Но приказ — есть приказ, и 319 горно-вьючный полк за срыв важнейшего политического мероприятия был расформирован и вычеркнут из списка боевых частей Советской армии.

Я тоже давал подписку о неразглашении, но полагаю, что за давностью времени эту тайну теперь можно открыть: **В НАШЕМ ПОЛКУ, В ПРИСУТСТВИИ ПРИБЫВШЕЙ ИЗ МОСКВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ БЫЛО..... СОРВАНО ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГИМНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА!!!**

Расскажу, однако, по порядку. О том, что прибывает комиссия сверху, мы определили по консистенции водки, в которую стали меньше доливать воды, а также по проблескам жиров в баланде. Когда же нас неожиданно отвели в резерв командования, передислоцировали в самый глубокий тыл, какой только был возможен в условиях Керченского плацдарма, прошел слух, что прибудет лично товарищ Сталин. Последующие приготовления вроде бы подтверждали это предположение. В полк прибыл и был поставлен на офицерское довольствие духовой оркестр в парадной форме, сверкающий десятками труб и тромбонов. Следом за ним приехал фронтовой вокальный ансамбль во главе с каким-то

* Не исключено, что звезда уже упомянутого мной полковника Брежнева, также проходившего по делу, "закатилась" бы, не успев взойти. В связи с тем, что нынче у Леонида Ильича выявился крупный литературный талант, напрашивается вопрос: не потеряло ли в его лице человечество еще одного Солженицына только из-за того, что его тогда не посадили?

заслуженным артистом Грузинской ССР в чине майора.

Подразделениям было приказано построиться для проверки голосов, после этого наш полк оказался на время переформированным в огромный академический хор. К моему собственному удивлению, у меня были обнаружены вокальные данные (видимо, сказалась наследственность: мамин дядя со стороны бабушки был кантором в Одесской синагоге). Благодаря этому я оказался в первом ряду первых голосов. Каждому солдату под расписку — чтобы не искурили — выдали листок с текстом государственного гимна СССР, и начались разучивания, спевки и репетиции.

Наконец, под большим секретом, нам объявили, что слухи о предстоящем прибытии товарища Сталина на Керченский плацдарм не верны, но приедет очень высокая правительственная комиссия, проверяющая исполнение нового государственного гимна СССР на всех фронтах. Политбюро и лично товарищ Сталин придадут пению гимна исключительно важное политическое значение. Комиссия будет проверять по одному полку на каждом фронте, и наш полк специально выделен для показа, как гвардейский. Задача — не уронить чести фронта и выйти на первое место.

Конечно, и командование и солдаты изо всех сил старались эту задачу выполнить. Нужно было показать правительственной комиссии, что на нашем плацдарме каждый стрелковый полк может исполнить государственный гимн СССР не хуже Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александра. На генеральной репетиции присутствовал сам член военного совета генерал-полковник Мехлис и остался доволен.

Все было подготовлено к приему комиссии вплоть до воздушного и артиллерийского прикрытия на случай вражеского обстрела или налета авиации на расположение полка.

Комиссия должна была прибыть к вечерней поверке, во время которой планировалось вынести боевое знамя и исполнить гимн. Но день ее прибытия держался, по понятным причинам, в секрете. Место торжественного построения тоже оказалось засекреченным.

Наши саперы работали день и ночь, оборудуя расположение полка. Была сооружена триумфальная арка, построен блиндаж с надежным перекрытием. Однако их труд оказался напрасным. Чтобы дезориентировать вражескую разведку, место построения в последний момент переменяли.

Командование и политорганы, отвечавшие за проведение мероприятия и предусмотревшие решительно все, упустили из вида мелочь, которая и сыграла роковую роль.

Вначале все шло по плану. Как только над Азовским морем спустилась ночь, послышался рокот моторов. Это были "Виллисы" с комиссией, прибывшей в сопровождении охраны. Кто персонально в нее входил, так и осталось тайной. Смотр проводился ровно в полночь. Я, честно говоря, ничего не видел, но слышал все очень хорошо.

Начались переклички и рапорты, как на обычной вечерней поверке. Затем дежурный по полку отдал рапорт заму по строевой части майору Хавкину, на его несчастье, временно исполнявшему тогда обязанности командира полка. Майор Хавкин отрапортовал председателю правительственной комиссии, что полк готов к исполнению государственного гимна Союза ССР. Затем последовала команда: "К выносу боевого знамени", и барабаны в оркестре забили дробь.

Знамя должно было быть вынесено в центр построения, где стояла полковая рота автоматчиков. Их теперь "изображал" армейский вокальный ансамбль, которому по этому случаю повесили автоматы. Он был запевающей группой.

И вот трубы и тромбоны повели величественную мелодию государственного гимна, а рота автоматчиков во главе с заслуженным артистом Грузинской ССР запела первый куплет:

"Союз нерушимый республик свободных,

Сплотила навеки могучая Русь..."

В этом месте вступили мы:

"Да здравствует созданный волей народов

Великий могучий Советский Союз..."

— запел я вместе со всеми первыми голосами. Затем подключились вторые голоса, и весь хор мощно грянул припев под звон литавр и грохот барабанов:

"Славься отечество, наше свободное..."

Но как только запевающая группа начала второй куплет, оркестр словно рехнулся. Не только я — весь полк решил, что музыканты тронулись. Трубы и тромбоны взревели дикими голосами и пошли валять кто в лес, кто по дрова... И вместо величественной мелодии началась такая какофония, что пение невозможно стало продолжать. Хор попытался перерорать оркестр, чтобы как-то спасти положение, но сорвался и смолк на словах "нас вырастил Сталин..."

И только тогда кто-то догадался, что дело совсем не в оркестре, а в том, что в долине заорало стадо ишаков. Пока их угомонили и разогнали, правительственной комиссии и след простыл...

Говорили, будто охрана, не разобравшись, приняла ишачий рев за сирены воздушной тревоги, и комиссию срочно эвакуировали из зоны непосредственной опасности.

На этом смотр окончился, правительственная комиссия вылетела на другой фронт, и весь полк и причастное к этому мероприятию вышестоящее политначальство в страхе ожидало, что же теперь будет.

Майор Хавкин в ту же ночь почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался от инфаркта. Замполит Анищенко запил*. Лично для меня это кошмарное ЧП окончилось тоже неожиданно. После того как я не удержался в штабных из-за истории с "полковничьим колесом", меня, по окончании смотра, решили вообще списать из полка. Но вдруг я был вызван к комсorghу полка лейтенанту Кузину:

— Решено укрепить партийно-комсомольскую прослойку в обозе, — сказал лейтенант. — Комсомольское бюро рекомендует направить тебя во вьючный взвод. Ты парень подкованный политически и по-русски говоришь, а у нас в обозе

* Видимо, и для Леонида Ильича этот урок не пропал даром. При расследовании так называемого "Дела с ишаками", Особый отдел, в первую очередь, интересовал вопрос: "почему пение гимна оборвалось именно на словах: "нас вырастил Сталин?" Не знаю, был ли этот вопрос задан полковнику Брежневу. Как известно, теперь текст государственного гимна СССР, по инициативе Леонида Ильича, изменен, и слова "нас вырастил Сталин" заменены другими.

одни елдаши собрались, всякие там туземцы и татары. Говоришь с ними по-человечески, а они в ответ: "моя твоя не понимает". В общем, после ЧП морально-политическое состояние надо срочно поднимать, а также изжить позорные факты скотоложества и прочие упущения в комсомольской работе.

В обоз я не отказывался идти, я всегда любил лошадей, но убедить Кузина в том, что никогда не был комсомольцем, оказалось невозможным.

— Как так не был? Ты же комсоргом эшелона ехал. Факт! Ежели комсомольский билет утерял, имей мужество честно признаться, как нас партия учит. Дадим строгача, а после снимем, когда оправдаешь доверие...

В конце концов пришлось "честно признаться", что утерял комсомольский билет, чтобы от Кузина отвязаться. Мне выдали новый, "взамен утерянного" и вклеили строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Я всегда боялся вступать в комсомол, так как при этом надо было рассказывать автобиографию и заполнять анкеты с роковым для меня вопросом: "есть ли репрессированные родственники?"

Когда я уходил в армию, тетя мне твердила: "Лева, заруби себе на носу, что никаких репрессированных родственников у тебя не было, нет и не будет! Ты понял? Иначе будешь иметь неприятности". А тут такое случилось, что я пошел в комсомол без всяких анкет!

ИШАЧИНАЯ ДИВИЗИЯ

Итак я стал служить в горно-вьючном транспортном взводе в качестве комсомольской прослойки между елдашами и ишаками. Не знаю, прав ли был Кузин насчет позорных фактов скотоложества — в отношении нацменов такое предубеждение почему-то бытует до сих пор (по-моему, это просто отрывка великодержавного шовинизма). Но насчет того, что с елдашами трудно было договориться, он оказался прав.

Во вьючном транспорте в основном оказались нацмены с Кавказа, насколько я понял — сплошь зараженные предрас-

судками и пережитками прошлого в их отсталом сознании. Политработу с ними проводить было довольно трудно, поскольку они вообще по-русски ни в зуб ногой не понимали, либо делали вид, что не понимают. Только исполнявший обязанности командира взвода сержант Мамедиашвили кое-что кумекал, но и с ним установить контакт было почти невозможно. Он был весь увешан медалями и держался с таким высокомерием, будто командовал не несколькими десятками ишаков, а, по крайней мере, кавалерийским корпусом.

И все-таки я отважился к нему подступиться.

— Москва! — сказал я, показывая на свою грудь.

— Еврей? — понимающе переспросил сержант.

Я не стал скрывать свою национальность, подобно Сашке.

— Еврей. Из Москвы, — подтвердил я.

— Еврей из Москва — плохой человек! — презрительно сказал Мамедиашвили и больше не достаивал меня разговором.

Между прочим, многие из ишачников (так в обозе называли солдат, работавших с ишаками, в отличие от коноводов) носили подобные же фамилии: Намиашвили, Утиашвили, Додашвили. Зная знаменитую грузинскую фамилию Джугашвили, которую прежде носил товарищ Сталин, я не сомневался, что все они из грузинских племен, и только много позже, когда я уже иммигрировал в Израиль, установил, что все они были моими братьями, с которыми я объединился на своей исторической родине.

Ишаки сперва меня тоже не признавали. Это были те самые животные, из-за которых случилось ЧП, и теперь они находились в обозе как бы на положении штрафников. Конечно же, нельзя было бы обвинять этих животных в том, что именно они виноваты в срыве важнейшего политического мероприятия, которому придавало такое большое значение Политбюро и лично товарищ Сталин, но все же определенная доля вины на них легла.

Ишаков не таскали по Особым отделам, так как даже Особый отдел, который обычно знает что к чему, не решился заподозрить их в преступном умысле. Но определенные оргмеры в отношении них были приняты без промедления: специ-

альным приказом по полку, последовавшим сразу же после ЧП, ишаки впредь и навсегда были удалены от мест построений личного состава не менее чем на два километра.

Приказ предназначался не столько для ишаков, сколько для высоких обозных инстанций, откуда после ЧП могли последовать всякие ревизии.

Исполнение этого приказа и было возложено на меня — я должен был пасти ишаков в светлое время суток — от рассвета до заката. В темное время суток за ишаков отвечали елдаши под командованием Мамедиашвили. Они под покровом темноты гоняли ишаков со склада боеприпасов на передовую и обратно, доставляя патроны, мины и снаряды.

Другая мера, в приказе не упомянутая, покарала ишаков куда чувствительнее. Полковой начпрод сразу же после ЧП, проявив политическую сознательность, приказал снять ишаков с фуражного довольствия и полностью перевести на подножный корм.

— Где ж это видано, где ж это слыхано, чтоб ишаков кормили овсом? — заявил он, перефразируя известное стихотворение Маршака. — Мы коням лучше норму прибавим.

Эта непродуманная мера едва вторично не привела к трагическим последствиям как для полка в целом, так и для меня лично.

Начпрод не учел того обстоятельства, что подножный корм в это время года почти отсутствовал, а работа у ишаков была тяжелая — несмотря на свой малый рост, они поднимали грузы большие, чем кони, но о последствиях начпродовского приказа позже. Пока лишь замечу, что, находясь в обозе, я пришел к заключению: институт придурков в армии настолько всеобъемлющ, что охватывает не только личный, но и конский состав. Это было очень заметно в нашем обозе при сравнении статуса коней с положением ишаков. Ишаки трудились в поте лица, но фуражное довольствие и почет доставались коням. "Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага!" — пелось в песне. Не думаю, чтоб поэты Лебедев-Кумач или Фатьянов решились бы даже упомянуть ишаков. Особенно рядом с именем товарища Сталина.

Ишаки были изгнаны и из наградной документации. Дело в том, что при оформлении подвига, согласно канцелярской традиции, которой строго следовали писаря, герою полагалось произнести возглас: "За родину, за Сталина!" Но разве писарь (если он в здравом уме) посмел бы, к примеру, написать в наградном листе: "Гвардии сержант Мамедиашвили с возгласом: "За родину, за Сталина!" прорвался... на ишаках сквозь вражеский заслон. И сержанта Мамедиашвили "усаживали" на коня..."

Говорят, Мамедиашвили, по получении наградного приказа, был возмущен допущенной несправедливостью и даже ходил жаловаться замполиту: "Ишак работал, — заявил он, — а лошадь награда получил?!" Но его протест был оставлен без последствий.

Таким образом, в нашем обозе кони являлись как бы придурками-ветеранами, их жизнь тщательно оберегали. Если конь отдавал концы, назначалась комиссия, приезжал дознаватель: не была ли допущена преступная небрежность? Могли и к ответственности привлечь, и в штрафную сунуть, если дознавателю не поставишь пол-литра. А ишаков списывали в расход, как простых солдат, без всякого отчета. С этими животными мне все-таки удалось наладить контакт. Наблюдая за ишаками, я обнаружил, что они тоже отличаются друг от дружки по породам, словно люди по национальностям. Мои выводы подтвердил ветфельдшер Мохов.

Оказалось, что когда-то, до войны, полк стоял в горах на границе с Китаем, и часть ишаков происходила оттуда. Это были маленькие пятнистые существа, ужасно голосистые. Орала они, как иерихонские трубы. Другая порода была из Ирана, где полк стоял до войны. Иранцы были черной масти и тоже орала, но тише китайцев. Еще были серые, обычные ишаки, наши советские из Средней Азии и с Кавказа. Эти предпочитали помалкивать. Я обнаружил, что в стаде верховодят китайцы и вожаком, которому все беспрекословно подчиняются, является одноухий ишак по кличке "Хунхуз".

Вспомнив свою черепаху Синь, я решил поговорить с ним по-китайски, может быть, он меня поймет? Правда, китайские



слова я почти начисто позабыл. Однажды, когда он чесался боком о камень, я спросил: "Шиза ю?" (Блохи есть? По-китайски это было одно из матерных ругательств, которых я набрался в портовых забегаловках, куда меня таскала моя китайская няня). В ответ Хунхуз стал энергично чесаться об меня — значит, понял!

Я припомнил еще несколько матерных китайских слов... В отличие от Мамедиашвили и елдашей, впоследствии моих израильских братьев он меня признал "своим", и стадо стало мне повиноваться.

Однако Хунхуз оказался существом коварным и моим доверием злоупотребил. И все из-за начпрода, лишившего ишаков довольствия.

В один прекрасный день, когда ко мне зашел ветфельдшер Мохов поиграть в шахматы, и мы с ним немного увлеклись, Хунхуз, улучив момент, побежал в расположение полка, а за ним все стадо. Когда я хватился, ишаков и след простыл. Голодные ишаки прорвались на продсклад и успели уничтожить весь запас лаврового листа и махорки.

Но самое страшное произошло не на продскладе, а в палатке, где хранилось полковое знамя. В поисках съестного ишаки прогрызли брезент за спиной у спокойно дремавшего часового, дотянулись до полкового знамени и стали его жевать. Если бы им удалось сжевать наше боевое гвардейское знамя до конца, наш полк за его утрату на этот раз уже не избежал бы расформирования! А я бы не избежал трибунала, может быть, меня бы даже расстреляли.

Не знаю, что было бы со мной, если бы не заступился лейтенант Кузин, который, несмотря на строгач с занесением в личное дело, сразу же зачислил меня в комсомольское бюро, так сказать, в свою "номенклатуру".

Ветфельдшер Мохов тоже здорово меня выручил, представив в штаб акт, подтверждавший, что ишаки в момент этого ЧП из-за голода находились в невменяемом состоянии по вине начпрода. Так печально для меня окончилась обозная идиллия.

Но мне повезло. Именно в этот момент лейтенанту Кузину потребовалось укрепить комсомольскую прослойку в похоронно-трофейной команде, и я был переброшен туда.

Чтобы не возвращаться больше к обозу, позволю себе забежать вперед и сообщить читателю о не совсем обычной судьбе нашего горно-вьючного транспорта и его дальнейшем боевом пути после моего ухода.

Дело в том, что и после Второй мировой войны в отношении наших ишаков была допущена очередная и при том вопиющая несправедливость. "Никто не забыт, ничто не забыто" — гласит известный патриотический лозунг. В связи с этим я не могу не вспомнить, что я читал рассказ о верблюде, который в составе одной из воинских частей дошел до Берлина. О роли собак я уже не говорю. Достаточно вспомнить знаменитого пограничника Карацупу и его верного друга*. Но вряд ли кто-нибудь встречал в литературе упоминание о наших гвардейских ишаках. (Для меня тут вопрос не только в ишаках, но и в принципе!)

Конечно, не все, воевавшие на 4-ом Украинском фронте, слышали о такой 128-ой гвардейской горно-стрелковой дивизии, переброшенной туда из Крыма. Много было гвардейских дивизий с трехзначными номерами. Но я берусь утверждать, что почти все, воевавшие на нашем фронте, слышали о знаменитой "Ишачиной дивизии". Так вот, могу сообщить, что "Ишачиная дивизия" — это и есть 128-ая гвардейская, благодаря ишакам вошедшая в неписаную историю Великой Отечественной войны. В официальной истории ишакам места не оказалось — все их заслуги, как всегда, приписали коням.

Возможно, кое-кто до сих пор не может простить им ЧП с государственным гимном или факт пленения их врагом? Или то обстоятельство, что часть из них, в результате военных действий, занесло в империалистическую Америку, где их потомки проживают и по сей день?

* Кто поверит измышлениям Западной пропаганды, что любимец товарища Сталина Карацупа — это очередной вымысел советских пропагандистов из газеты "Пионерская правда".

"НАРКОМЗЕМ"

Читателю известно, что родился я под звуки похоронных маршей и траурное пение. Моя суеверная мама считала это плохой приметой, и она оказалась права.

Видимо, факт рождения под сенью смерти Великого Вождя и Учителя в какой-то мере предопределил и мою фронтовую судьбу. По ее воле я временно оказался в полковой похоронно-трофейной команде, на этот раз в качестве комсомольской прослойки между все теми же елдашами, работавшими в ней могильщиками, и беднягами, кого безжалостная война определила в "наркомзем".

Таким образом, после "Горьковского мясокомбината" и маршевого эшелона я побывал и на конечной операции производственного процесса. Отсюда после окончания земного существования солдат списывается в вечность.

"Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей родины" — эти бессмертные слова товарища Сталина, согласно похоронной инструкции, надлежало писать на каждом фанерном обелиске, венчающем и "братские могилы лиц рядового и сержантского состава, и персональные захоронения останков состава командно-начальствующего". Так гласила инструкция. А старшина Поликарпыч, командовавший елдашами, к словам товарища Сталина каждый раз присовокуплял от себя: "Упокой, Господи, души рабов своя" и крестился на пятиконечную звезду под временным фанерным обелиском.

Хотя в братских могилах лежали не только православные, но и магометане, и евреи, старшина был твердо убежден, что в небесной канцелярии разберутся и каждый будет определен куда ему положено.

...Я попал в эту шарагу в разгар похоронной страды, наступавшей всегда после выхода полка из боев и отвода его во второй эшелон на отдых. Поэтому мне лопатой работать уже почти не досталось. Лопату я вскоре сменил на перо и был переброшен в помощь писарю, буквально выбивавше-

муся из сил от титанической работы. Кто не знает, сколько формальностей и проблем встает на пути человека, отправившегося в мир иной, и сколько хлопот падает на голову его близких.

Боюсь, что я замучил читателя своими бесконечными отступлениями, уводящими его из героического мира военных придурков, которому я посвятил свое произведение, в будничную гражданскую жизнь, всем давно надоевшую. Но в этом месте я считаю нужным сделать оговорку принципиального значения.

В годы войны повсюду висели плакаты с крылатым лозунгом: "Фронт и тыл — едины". Могу к этому добавить выражение, взятое из партийно-патриотического фольклора: "Красная армия — плоть от плоти народа". Поэтому понятие "военный придурок" страдает известной ограниченностью и вызывает законный вопрос: "А что, собственно, произошло с легионом фронтовых придурков, которые перековали мечи на орала?" Да и вообще: почему только ротный, полковой или армейский придурок? Не указывая на личности, меня могут поймать на алогизме — по своей социальной сущности, придурки совсем не обязательно должны быть связаны со славной Красной армией? Почему не со славной армией стахановцев и ударников коммунистического труда? С нашими замечательными ленинскими профсоюзами — школой управления, школой хозяйствования, школой коммунизма? С нашими славными органами, продолжающими традиции Железного Феликса?..

Я не ошибусь, если скажу, что едва ли не с того дня, когда, следуя за великим Лениным, мы сломали старый мир и под руководством его гениального продолжателя приступили к строительству нового в одной отдельно взятой стране — именно в этой стране — стране героев, возникла и достигла небывалого расцвета наша славная гвардия "придурков". Придурки были всегда. "Герои уходят и приходят", — сказал товарищ Сталин, а придурки, как и народ, остаются, — скромно добавим мы.

Война, конечно, тут сыграла свою роль. Вместе со всем советским народом, в горниле войны, славная гвардия придурков продемонстрировала свою жизненную силу и выдвинула из своих рядов таких выдающихся военачальников, как полковник Брежнев, стоящий сегодня во главе всего прогрессивного человечества. Из придурков вышли и такие корифеи мичуринской науки, как Трофим Денисович Лысенко, идеологи марксизма-придуризма товарищи Суслов и Пономарев, гениальные мастера соцреализма Иван Шевцов и Всеволод Кочетов. Мы уже не говорим о выдающихся вождях советских профсоюзов, как Виктор Васильевич Гришин, или таких штурманов советской культуры, как товарищи Фурцева и Михайлов.

Кстати, о каждом можно рассказать особо. Вот, например, вождь ленинского комсомола товарищ Михайлов. В далекие времена моего детства кто из "огольцов" на нашей пролетарской окраине по всему шоссе Энтузиастов от Рогожской заставы до Измайловского зверинца не слышал о знаменитом Карзубом? Потом бандит Карзубый спутался с милицией и стал "лягавым". Лешка-атаман его хорошо знал, вместе работали на "Серпе", где лягаш Карзубый, по протекции "органов", заделался комсомольским вожаком. И вдруг бывший предводитель рогожской шпаны Карзубый стал товарищем Михайловым секретарем ЦК ВЛКСМ — прямо с "Серпа" его сунули на этот высокий пост и поручили вести ленинский комсомол в коммунизм. За пятнадцать лет* дело он до конца не довел, поскольку вышел из комсомольского возраста и как переросток был переброшен на культурный фронт.

Как Карзубый, бывший еще безграмотнее Атамана, мог осуществлять руководство миллионными массами комсо-

* Впрочем, за этот период он успел поднять ленинский комсомол до такого идейного уровня, что он превратился в подлинную кузницу кадров для наших славных чекистов. Комсомольцы "беспокойные сердца" по праву гордятся тем, что из их среды вышли такие "Железные Феликсы" наших дней, как товарищ Семичастный и Шелепин. Кстати, последний (которого звали "Железный Шурик"), пройдя школу подлинной демократии в КГБ, возглавил самую авторитетную организацию — советские профсоюзы. Неразрывная связь комсомол—КГБ—профсоюзы символизирует самую последовательную в мире советскую демократию.

мольцев? Да очень просто; при этом высокопоставленном придурке находился "ученый еврей"* , некто Е. (родственник моей жены), который и думал за него.

Говорят, товарищ Сталин, обычно чуждый сантиментов, к Михайлову благоволил, может, потому, что легендарный Сосо в молодости и сам пошаливал на большой дороге и тоже, говорят, на этой почве имел не совсем ясные отношения с блюстителями порядка.

Империалистическая пропаганда подняла на щит писания Милована Джиласа, объявившего миру о том, что он открыл в СССР новый класс. По-видимому, будучи иностранцем и вращаясь исключительно в высших сферах, он сам оказался человеком классово ограниченным. Если бы Милован Джилас лично прошел путь простого советского человека — строителя коммунизма (побывал бы на уборке картофеля, в порядке шефства, поработал бы агитатором на избирательном участке, возглавил бы производственную комиссию в профорганизации), он бы сделал, возможно, другой вывод, что в условиях первой фазы коммунизма "новым классом" является не только партийная бюрократия, а границы его буквально безбрежны. Могут спросить: но кто же к кому пристраивается дуриком в коммунистическом строительстве? Этот вопрос лично для меня кажется настолько не простым, что я оставляю его решить читателю.

А пока вернусь к похоронным проблемам и даже не военного, а семейного порядка. Похоронные проблемы были сложны, а там, где что-то осложняется — пусть извинит меня читатель за цинизм, — появляется придурок. Спустя много лет после войны, я буквально сбился с ног, когда хоронил

* Осветить роль "ученых евреев" при придурках мне просто не под силу. Читателю придется довольствоваться скромными эпизодами из моих мемуаров. Злые языки приписывают роль такого рода "ученых евреев" даже женам некоторых выдающихся деятелей нашей партии (например, Молотова, Ворошилова, Микояна, Андреева). Те же злые языки в своей безнаказанности дошли до того, что утверждают, будто Виктория Петровна (Пинхасовна) Брежнева сыграла не последнюю роль в блистательной карьере своего мужа полковника Брежнева.

своего папу. Эта эпопея, которую я окончил в рекордный срок, менее чем за год, стоила мне, наверно, нескольких лет жизни, не говоря уж о деньгах, израсходованных на многочисленные поллитровки и закуски. Чтобы увековечить память своего папы, старого большевика с дооктябрьским партстажем, персонального пенсионера и почетного комсомольца и пионера, я совершил почти невозможное и только благодаря своему военному опыту в похоронной команде.

Несмотря на отказ председателя Моссовета товарища Промыслова предоставить моему папе соответствующее его революционным заслугам место в крематории, он это место получил. Директор крематория даже пошел со мной на спор, заявив, что ставит девяносто девять против одного, что мои хлопоты будут напрасными. И он проиграл.

Конечно же, он решил, что я Бог знает кто, а дело было очень простое: один мой приятель из "Московской Правды" позвонил в Управление бытового обслуживания кому следует, и резолюция была получена. (Разумеется, эту любезность мне пришлось отработать.)

К слову, когда я зашел к директору напомнить о нашем пари, оказалось, что его уже посадили. Этот номенклатурный работник МК партии по совместительству направлял деятельность похоронных кадров определенным образом. Как именно, я не могу отказать себе в удовольствии изложить в деталях.

После того как под звуки полонеза Венявского и рыданий родственников гробы с телами покойных спускались в преисподнюю и створки в полу смыкались, сотрудники крематория, сидевшие в подвале, приступали к работе. Покойников раздевали догола, и похоронный инвентарь вновь поступал в продажу, а выручка делилась.

На кремацию в таком виде уходило меньше электроэнергии, и директор, помимо прочего, получал большие премии за экономию, а крематорий по результатам соцсоревнования был награжден переходящим Красным знаменем ВЦСПС.

Трудности и проблемы, связанные с увековечением памяти павших в боях за родину, носили иной характер, но тоже тре-

бовали от бойцов похоронного подразделения полного напряжения всех сил. Я имею в виду не только работу по выносу тел с поля боя и рытье могил в каменистом грунте. В вышестоящие похоронные инстанции требовалось представить горы формуляров, актов, отчетов с приложением копий топографических планов и схем захоронений. Каждое фронтовое кладбище должно было быть точно привязано к географическим координатам. Каждая могила точно пронумерована на плане, каждый захороненный опознан, сверен с учетными данными и обозначен двойной нумерацией.

Списать солдата в расход ротному писарю ничего не стоило, — проставляли соответствующую цифру и дело с концом. Но чтобы списать его в вечность, на вечную славу, писарям похоронной команды приходилось трудиться по трое суток без сна. И если бы, например, стихийное бедствие стерло кладбище с лица земли, то по документации и планам, хранящимся в секретных архивах, все равно можно было бы безошибочно разыскать, где захоронен солдат Иванов, сержант Петров или лейтенант Сидоров и увековечить их имена.

Именно так я себе это и представлял, иначе зачем же на каждого покойника писать столько бумаг, да еще с грифом "секретно"?

Но вот много лет спустя меня потянуло к местам боевой славы: я хотел взглянуть на бывший Керченский плацдарм, вспомнить былые времена. Не скрою, за эти годы многое изменилось. Развалины превратились в жилые дома, выросли деревья. Я разыскал место, где у меня украли очки, и даже неглубокую ямку, где был блиндаж, в котором мы сидели в боевом охранении. Но кладбище героев, над созданием которого мы все так самоотверженно поработали, провалилось как сквозь землю. Оно пошло под застройку, на этом месте воздвигли новый магазин "Сельпо" и пивной ларек.

Правда, в удалении, километрах в полутора, я заметил обелиск, сооруженный из камня и окруженный массивными чугунными цепями: "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей родины", но о самих героях позабыли упомянуть.

Потом я пошел на то место, где погибла вся 16-ая армия в конце 1942 года. Думаю, тысяч двадцать, а может, и тридцать там погибло. Глядя на безымянный обелиск, я вспомнил слова лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи Владимира Маяковского, которому было "наплевать на бронзы многопудье и мраморную слизь". Но, как мы все теперь знаем, солдаты 16-ой армии, как и сорок миллионов других, погибли не зря.

**"Пускай нам общим памятником будет
Построенный в боях социализм".**

Социализм-то, конечно, социализм, но почему все-таки прославляют неизвестных солдат (даже без указания фамилии), а имена известных со всеми формулярами хранятся в секретных архивах?

Такое положение в будущем может привести к определенному конфузу.

Когда я находился в Ташкенте, в эвакуации, в нашем "тамархануме" (дом, куда поселили сотрудников Академии Наук СССР, был построен для балетной школы имени народной артистки Тамары Ханум) жил очень интересный ленинградец, потом переселившийся в Москву, доктор Герасимов. Он по черепу мог восстановить точный портрет человека. Тогда он, к примеру, вылепил Тамерлана. После войны он по черепу восстановил облик князя Юрия Долгорукого, основателя Москвы, памятник которому был воздвигнут перед Моссоветом в честь 800-летия города.

А после того как памятник воздвигли, выяснилось, что Юрий Долгорукий-то был монголоидного происхождения, то есть относился к желтой расе. Тогда у нас с китайцами была "дружба навеки", памятник оставили. К чему я это все говорю? Может быть, через сто лет любознательные потомки захотят по методу профессора Герасимова восстановить портрет Неизвестного солдата. И вот тогда-то мы и можем оказаться перед лицом определенного конфуза: где гарантия, что Неизвестный солдат не окажется евреем?

Когда я был студентом Московского полиграфического института и руководил бригадой агитаторов по выборам в

Верховный Совет СССР, моей бригаде достался тот еще участочек — общежитие Треста похоронных погребений, находившееся в Безбожном переулке. В бараке жили могильщики и могильщицы — женщины тоже трудились на этом нелегком поприще.

После окончания рабочего дня похоронщики веселились. Гульба была такая, что барак ходуном ходил, мат стоял — хоть топор вешай, и мои агитаторши, девочки из приличных семей, даже близко к этому вертепу не решались приблизиться.

Барак был затоплен нечистотами, громадные крысы кишмя кишели в нем. Избиратели-могильщики в один голос заявили мне, что голосовать за депутата блока коммунистов и беспартийных не пойдут, если у них в бараке не вычистят выгребную яму. Депутатом у нас был знатный слесарь с завода "Калибр", зачинатель всесоюзного почина передовиков — фамилию этого придурка я, честно говоря, забыл, всех из этой славной гвардии не упомнишь.

Я бросился в райисполком, обивал пороги, писал заявления, однако, кроме обещания включить мою яму в план ассенизационно-ремонтных работ, ничего не добился. Выборы уже были на носу, и дело для меня запахло порохом. Тогда я пошел к избирателям и попросил их меня не подводить, как бывшего собрата. Мое фронтовое похоронное прошлое (и пара бутылок "плодоягодного" впридачу) в конце концов выручило: избиратели-могильщики все, как один, явились на выборы еще до открытия избирательного участка, где оказались операторы кинохроники. Мы попали в киножурнал "Новости дня" в кадр "Они были первыми", который долгое время демонстрировался во всех кинотеатрах.

Работа моей бригады агитаторов была отмечена почетной грамотой МК ВЛКСМ.

* * *

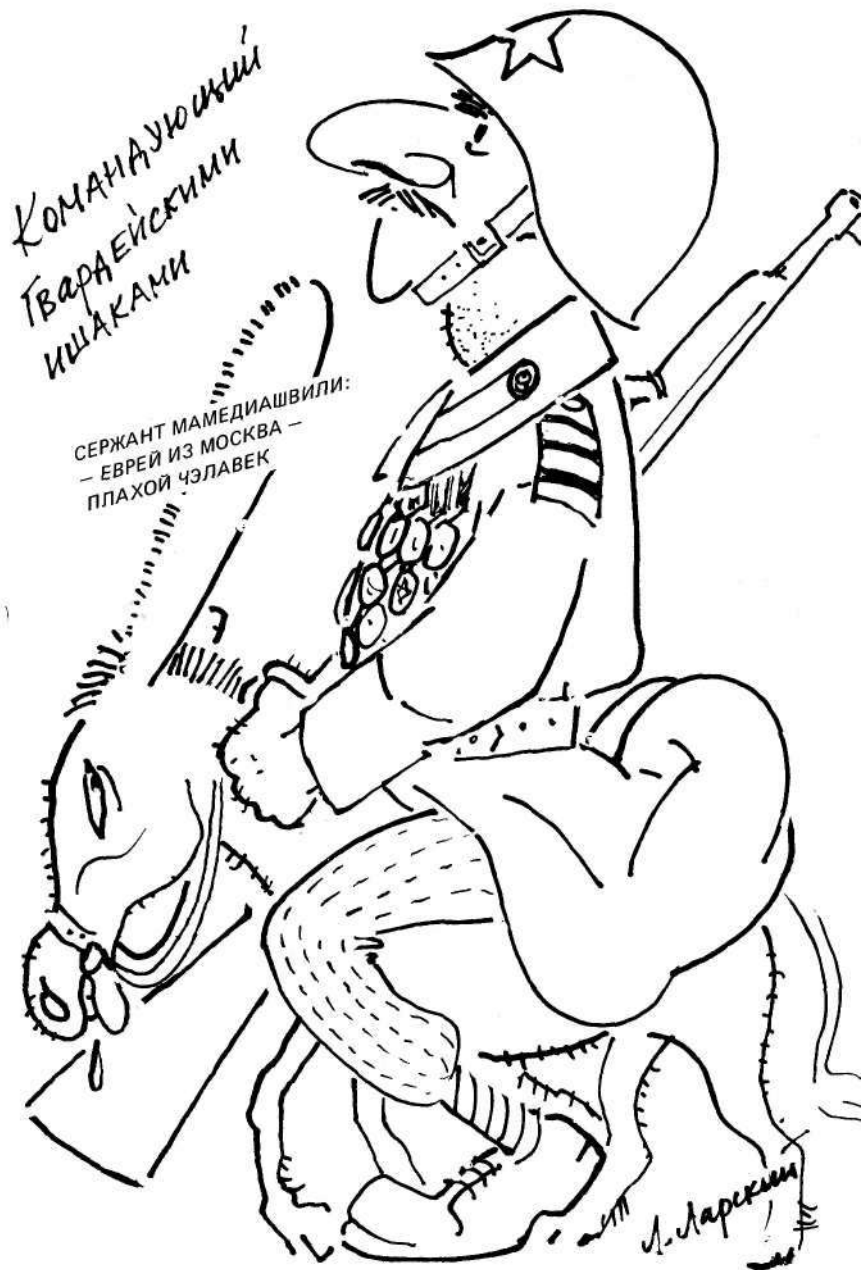
На Керченском плацдарме моя похоронная деятельность окончилась в феврале 1944 года, незадолго до нашего наступления и освобождения Крыма.

После моего падения с пьедестала в качестве создателя "Аллеи героев" имени Александра Матросова до самого дна придурочной иерархии, кривая моей солдатской карьеры снова пошла вверх.

Собственно говоря, полковой инженер капитан Полежаев заметил меня давно, поскольку инженеру требовался солдат, умеющий чертить и рисовать. Но из-за кражи моих очков все сорвалось. И вот нежданно-негаданно я снова прозрел! Правда, не полностью, но мог уже, к примеру, вблизи узнавать людей и даже знаки различия на погонах. На свое счастье, я нашел какие-то странные немецкие очки, хранившиеся в проржавевшей железной коробке, которая валялась среди так называемых трофеев в одной из наших повозок. Очки были необычной формы, огромные и с тесемками вместо "оглоблей", поэтому в них меня часто принимали за передетого немца и задерживали для выяснения личности. На передовой в них вообще появляться было опасно — могли свои же и подстрелить.

Прозрев, я на радостях схватил альбом, краски и нарисовал первое, что мне пришло в голову: сержанта Мамедиашвили верхом на Хунхузе, на котором он обычно ездил. Просто, как колоритную фигуру, без всякого умысла. Рисунок мой с подписью: "Командующий гвардейскими ишаками" пошел по рукам и имел в полку колоссальный успех. Сам Мамедиашвили вместо того чтобы обидеться, пришел в восторг и забрал рисунок себе. Пусть читатель представит себе мое состояние, когда, спустя год, листая украдкой немецкий журнал, издаваемый на русском языке для власовцев и "восточных добровольцев", я узрел в нем... свое произведение, под которым красовалась моя собственноручная подпись "Л. Ларский" (!!!) Под моим рисунком было напечатано: "Командир истребителей-"ишаков"* верхом на осле". Добавлю, что наш горно-вьючный транспорт в то время числился пропавшим без вести. В конце войны Мамедиашвили объявился с частью елдашей и ишаков, бежав из плена.

* Как известно, "ишаками" называли советские истребители И—16. Видимо, немецкая пропаганда перепутала наших ишаков с самолетами.



Поскольку я был бойцом похоронно-трофейной команды, я хотел бы упомянуть об одной, довольно многочисленной категории военнослужащих, тоже приписанных к "наркомзему".

Теперь-то об этом можно говорить открыто, но во время войны если кто-нибудь посмел бы заикнуться, что помимо "наркомздрави" и "наркомзема" для солдата есть третий выход, ему бы Особого отдела не миновать. Но третий выход имелся, и именно в него, спасаясь от "наркомзема", незаконно улизнуло несколько миллионов человек.

Нет бы поступить в "наркомзем" и способствовать "повышению урожайности колхозных полей в качестве удобрений", — как говаривал наш особист капитан Скопцов. А эти предатели посмели нарушить присягу и сдались в плен!

С другой стороны, и маньяк Гитлер такую ораву кормить не собирался. Он нахально потребовал через международный Красный Крест, чтобы товарищ Сталин взял советских военнопленных на свое довольствие. Товарищ Сталин отказался это сделать, несмотря на то, что в числе военнопленных находился его родной сын Яков, от первого брака. Он остроумно заметил, что никакой Яков в природе вообще не существует, есть только предатель родины.

Поскольку предатели родины числились за "наркомземом" не в качестве придурков, а в качестве покойников, никакого довольствия им не полагалось, и как только они оказывались в нашем распоряжении, их прямым ходом отправляли в тот же "наркомзем" по назначению.

ПРИДУРОЧНАЯ ОДИССЕЯ

Как я отмечал в начале, вспоминая своего друга детства и покровителя Карла Маркса, в моей жизни почему-то все происходило наоборот.

— Сапер ошибается только дважды: первый раз, когда идет в саперы, и второй — когда подрывается и кончает могилой, — говорил командир саперной роты гвардии капитан Семь-

кин. Я, можно сказать, начал с конца — пришел в саперы "из могилы" Возможно, только поэтому год спустя не подорвался вместе с майором Семыкиным, тогда уже начальником инженерной службы полка.

Между похоронно-трофейной командой и саперной ротой оказалось много общего. Только саперы рыли не братские могилы, а НП, КП командира полка и землянки для начальства. Что же касается трофеев, то у саперов эта работа была налажена намного лучше, чем в похоронно-трофейной команде. Саперы шли впереди, поэтому и трофеи брали первыми. На любом объекте они могли написать слово "мины!" — которого было достаточно, чтобы избавиться от всех прочих претендентов. Трофеи трофеями, а жизнь все-таки дороже.

Конечно, полковое начальство, которое само жаждало приобщиться к завоеванному имуществу, подозревало о таких хитростях и время от времени пыталось саперов "раскулачить", как выражался наш замполит Пинин.

Трофеями у нас ведал сам старшина роты по кличке "Мильт" — старая милицмейская лиса. В гражданке "Мильт" был станичным милиционером на Дону и по совместительству подрабатывал конокрадством.

Когда-то он сам занимался раскулачиванием, отыскивал запрятанное кулаками добро и его реквизирует. Как припрятать от начальства трофеи, его учить не надо было. На фронте существовал термин "организовать трофеи" от немецкого слова "organiziren".

У нас "организацией" трофеев занимался большой специалист по части отчуждения социалистической собственности сержант Бессеневич (или "Бес", как все его называли). До армии Бес был высококвалифицированным вором-рецидивистом и прибыл на фронт из Воркутлага и, естественно, трофейные операции обычно поручались отделению, которым он командовал.

Содружество представителей двух миров — уголовного и милицмейского — как это обычно бывает — приносило хорошие плоды. Трофеи делились между всеми саперами, согласно основному принципу социализма: "от каждого по способностям — каждому по его труду".

Когда было разрешено посылать с фронта трофейные посылки, Мильт занялся этим делом вместе с ротным парторгом; в порядке установленной очередности и в соответствии с социалистическим принципом наша партийно-милицмейская прослойка собирала каждому саперу посылку и отправляла через полевую почту на адрес его семьи.

Мне тоже что-то выделили, но я от своей очереди отказался по принципиальным соображениям (так как это добро попросту отбиралось у местного населения), хотя семье моей тети что-нибудь из этого добра не помешало бы в те годы.

К моим чудачествам к тому времени в роте уже привыкли, но на этот раз мне пришлось поочередно объясняться с парторгом и старшиной. Со своей принципиальностью я дошел до того, что первым полез объясняться с руководством. Речь моя выглядела примерно так:

— В Крыму мы брали трофеи на немецких складах, это я еще понимаю, — сказал я парторгу. — В Германии — тоже трофеи. А мы ведь грабим трудящихся чехов и поляков. Разве это пролетарский интернационализм?

Парторг непонимающе посмотрел на меня и вдруг сказал: "А что, по-твоему, товарищ Сталин дурее нас с тобой? Раз на посылки разрешение дадено — нечего тут мудрить! Наша кровь подороже ихнего добра. Ты советский патриот, или кто?"

Мильт после со мной поговорил.

— Ларский, хошь философию разводить — твое дело. Другим больше достанется. Но сор чтоб из избы не выносил. Капитану Скопцову чтобы ни-ни... (Замечу вскользь, что Мильт, по совместительству, был в роте резидентом капитана Скопцова, полкового особиста. Он-то хорошо знал, что капитану можно говорить, а что нельзя.) О работе, возглавляемой Мильтом агентурной сети Скопцова, в которую, как комсорг, входил и я вместе с парторгом, речь пойдет впереди. Хочу только добавить, что парторг о нашем с ним разговоре насчет пролетарского интернационализма тут же доложил особисту. Он также просигнализировал в комсомольское бюро полка о наличии у меня "нездоровых настроений".

Вернусь, однако, к своей деятельности ротного придурка.

Полковой инженер взял меня в саперную роту в качестве заштатного писаря и связного против воли Мильта. Донской казак, он был "нутряным" антисемитом и к евреям относился с неким суеверным ужасом, подобным страху перед тарантулами. Однако, по его собственным словам, он умел с собой совладать, и чувства свои выражал весьма деликатно. Я, например, никогда от него не слышал слова "жид", а всегда — "ваша нация".

— Я вашу нацию наскрозь вижу, — обычно заявлял Мильт. — Как воротишься в Москву-то опосля войны, небось сразу в правительство полезешь!

— Блядь буду, не полезу, товарищ старшина! — божился я, но Мильт продолжал свое. Знал бы он, что я давным-давно побывал и в "наркоммах" и в правительствах, и все это уже пройденный этап моей жизни. Но мало-помалу Мильт все-таки уразумел, что моя работа укрепляет позиции капитана Семькина в вышестоящих инстанциях. Мильт держался на капитане, стало быть, в конечном счете, и я работал на него. Поэтому скрепя сердце он примирился с моим существованием.

Работа же моя заключалась в том, что я вел всю отчетность и документацию за полкового инженера Полежаева, который, будучи в обиде на судьбу, время от времени впадал в запой. То ли он был в плену, то ли в партизанах, но направление в полк он воспринял, как несправедливое понижение по службе. К тому же и дивинженер оказался его бывшим подчиненным, и этот факт еще больше бередил его душевную рану. В трезвом виде Василий Титович Полежаев был человеком весьма остроумным и интеллигентным, но в период запоя он страшно буйствовал, и если, не дай Бог, в руках у него оказывалось оружие, подступиться к нему бывало просто опасно.

— Я офицер германской армии! — кричал Василий Титович и стрелял в приближавшихся.

Он успел обучить меня составлению боевых донесений, схем и планов и затем на долгое время "отошел" от дел, предоставив мне полную свободу действий, и был очень доволен

тем, что мне придется дурачить дивинженера, подделывая его подпись.

А я стал регулярно и в срок доставлять дивинженеру боевые донесения, отчеты и всю прочую документацию. Дело дошло до того, что наш полк начали ставить в пример по части инженерного обеспечения. Приказом командира дивизии полковому инженеру и командиру саперной роты была объявлена благодарность. Василий Титович смеялся до слез над дивинженером.

— Во, как мы его у...ли!

А дивинженер прекрасно знал, кто составляет боевые донесения и их подписывает, но притворялся, будто не знает. Зато с его писарем Чернецовым, составлявшим сводки для корпусного инженера, мы работали в открытую.

— По минам не дотягиваем, — говорил, к примеру, Чернецов. — Сколько там у тебя в полку снято?

— 256 снято, из них 31 противотанковая, — отвечал я.

— Накинь еще сотни полторы!

Я накидывал, что мне стоило??

Если по земляным работам не дотягивали, я тоже подкидывал ему в отчет кубов 100 или 200 — сколько требовалось. Вот так мы и вышли на первое место среди саперных подразделений во всем корпусе!

Мои схемы очень нравились в вышестоящих штабах, и моего шефа постоянно хвалили за "штабную культуру". Правда, в отличие от капитана Котина, за которого я играл в штабную игру, Полежаев, действительно, обладал штабной культурой и, если бы захотел, мог делать всю эту работу намного квалифицированной меня. Но из-за своих "вынужденных отпусков" он без меня просто не мог. И когда, наконец, был назначен дивинженером 318-ой Новороссийской дивизии, намеревался забрать с собой и меня. Но встали на дыбы командир роты и наш дивинженер.

— Пока у меня Ларский, я за полк спокоен, — заявил дивинженер. — Если даже ни одного сапера не останется, работа не остановится: все отчеты будут в порядке...

И я понял, что на фронте один придурок, умеющий писать донесения, равен, как минимум, целой роте!

МЫ С ГЕНЕРАЛОМ ЕРЕМЕНКО

Но, конечно, такой мощи я достиг упорным трудом не сразу. Были у меня и конфузы и срывы...

Помню, как отчитал меня дивинженер, когда я в первый раз явился к нему с донесением. Тогда мы сидели в знаменитых (благодаря писателю Сергею Смирнову) Аджимушкайских каменоломнях, где был суший ад, все были черными от копоти. Оттуда я километра три плелся по непролазной грязи до штаба дивизии. Когда я добрался до дивинженерского блиндажа, оборудованного саперами со всем возможным комфортом, то внешний видик у меня был тот еще... Мне был дан такой нагоняй, что я стал выходить еще до рассвета, и, не доходя до инженерского блиндажа, чистился и умывался в воронке, наполненной дождевой водой.

К чему я это все рассказываю? Обычно во время моего туалета рядом проезжал верхом какой-то человек в форме без знаков различия. Зато конь под ним был по всей форме, и по будке всадника я решил, что какой-то придурок разминает генеральского коня.

Однажды подхожу я к своему месту и вижу, что он там стоит рядом с конем и пишет в мой "умывальник". Был бы на моем месте Бес, толстозадый придурок тут же схлопотал бы по будке. Я же от досады первый раз в жизни выругался матом за то, что он так отнесся к моему "умывальнику".

Видимо, у меня это вышло недостаточно внушительно: он преспокойно дописал, застегнул ширинку и, издав в ответ на мой укор неприличный звук, ускакал на своем шикарном коне.

Через некоторое время к нам в полк приехал товарищ Ворошилов, он был представителем Ставки на нашем участке фронта. Я оказался тогда около штаба по каким-то делам и видел его буквально в трех шагах. Если бы мне не сказали, что это Климент Ефремович, я бы его никогда не узнал без усиков и без маршальской формы. С ним было несколько человек в плащ-накидках и в том числе толстозадый облада-

тель будки, по которой я не смазал исключительно в силу своей хлипкости. Этот "интеллигент" оказался командующим Отдельной Приморской армией — генерал-полковником Еременко! Разумеется, больше я на то место не ходил.

Однажды я схватил десять суток губы по милости все того же Василия Титовича Полежаева. Было это в Ялте, после Севастопольских боев. Василий Титович тогда здорово ударял по женской части, в полку он отсутствовал. А тут прибыл приказ: "срочно представить офицерский состав к награждению".

Командир роты представил взводных, но его самого должен был представить к награде его начальник — полковой инженер.

Конечно, капитан Семькин не хотел оставаться без награды и приказал мне живого или мертвого Полежаева отыскать.

Я сбился с ног, обегав все зланные места города Ялты, где имели обыкновение бывать наши офицеры, но Василия Титовича не нашел. Обдумав ситуацию, я пришел к выводу, что если бы я и обнаружил в каком-нибудь зланном месте Полежаева, то все равно ему в этот момент было бы не до реляции и все равно эту реляцию пришлось бы составить мне. Поэтому я со спокойным сердцем представил капитана Семькина к наивысшей боевой награде — ордену Красного Знамени. Составив реляцию, я, как обычно, подписался за инженера и отнес в штаб полка.

Спустя несколько дней в штабе появляется Василий Титович, не подозревая о происшедшем, и узнает, что он представил командира саперной роты к самой высокой боевой награде. Как обычно, он был в подпитии и никак не мог сообразить, в чем дело. Он стал отрицать, что, мол, никакого Семькина к награде не представлял, тогда ему предъявили его собственноручную подпись. Василий Титович так разозлился, что в сердцах меня продал, не знаю уж в какой раз я оказался на волосок от штрафной — теперь отстоял меня награжденный мной командир роты.

После этого случая я тоже для себя сделал выводы — подделывать чужие подписи опасно (даже по согласованию с их владельцами), и с тех пор все донесения подписывал своей фамилией.

СНОВА ОБ "АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ"

Как видит читатель, война не баловала меня, но я не драматизировал ее превратности, а старался относиться к ним философски, как человек интеллигентный.

Подумаешь, генерал Еременко нассал в мою воронку. Впоследствии, когда он стал маршалом, я даже гордился этим.

Подумаешь, схватил десять суток за подделку подписи полкового инженера, зато убил сразу двух зайцев: не обеспокоил в дребодан пьяного Василия Титовича с его дамой и подбросил своему ротному высокую правительственную награду.

Война научила меня легко относиться к жизни. Единственно, с чем не мог я смириться — это с попранием идеалов моего друга детства и покровителя Карла Маркса.

И каждое расхождение его бессмертного учения с действительностью больно отдавалось в моем сердце. Хотя Карл Маркс всегда утверждал, что основным критерием теории является практика, именно в этой области чаще всего случались недоразумения. Об одном из них, касающемся роли личности в истории, я и хочу рассказать. Речь пойдет о подвиге рядового Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру вражеского ДЗОТа.

Читатель, вероятно, помнит, какую большую роль сыграл этот подвиг в моей судьбе? Но только в Крыму мне стали известны некоторые факты, породившие у меня определенные сомнения.

Я предвижу реакцию некоторых читателей, которые могут сказать примерно так: имя Александра Матросова священо, Александр Матросов — это вам не полковник Брежнев, которого завтра вычеркнут из истории, будто его вообще не существовало. Да и я такой постановки вопроса не отрицаю. Разве не я был в числе первых, стремившихся увековечить имя героя, создав в Марьиной Роще аллею имени Александра Матросова?



Однако при всем этом молчать не могу, и все, что мне стало известно, отдаю на суд читателя.

Летом 1944 года, после освобождения Крыма, нам было приказано занять оборону на участке побережья от Гурзуфа до мыса Айтодор. И если бы не приказ дивинженера осмотреть все огневые точки, оставшиеся от немцев, то и у меня самого никогда бы не возникло и тени сомнения, которым я, испытывая неловкость, хочу поделиться с читателем. Пусть он мне плюнет в лицо, если я возвожу на героя напраслину — человек, усомнившийся в бессмертном подвиге, заслуживает этого. Но перед этим я хотел бы быть выслушанным. Так вот, по поручению дивинженера 128-ой гвардейской дивизии, мне пришлось обмерить в общей сложности 39 ДЗОТов и 9 ДОТов* и составить на каждый формуляр. И вот, когда я обмерял двадцать восьмую по счету амбразуру, наружное сечение которой составляло 2,5 метра х 40 см, мне вдруг ударило в голову: ведь щель такой длины никак не мог закрыть человек с обычной грудью, а разве только такой гигант, как Владимир Ильич на Дворце Советов, с пальца которого должны были взлетать сталинские соколы.

Лично я считаю, что все это недоразумение случилось по вине политотдельских придурков, составивших донесение о подвиге героя. То ли они спутали ДЗОТ еще с чем-нибудь, то ли под мухой измеряли амбразуру.

Патриотический почин Александра Матросова был широко

* ДЗОТ — дерево-земляная огневая точка. Блиндаж с деревянным перекрытием в три ряда бревен, усиленным толстым слоем грунта. Из-за значительной толщины земляных стен длина его щелевидной амбразуры, расположенной над самой землей, составляет от 1,5 до 2,5 метра.

ДОТ — долговременная огневая точка. Капитальное сооружение из железобетона, способное выдержать огонь тяжелой артиллерии. Имело целый ряд амбразур размером от 0,5 метра и выше. Кинжальный огонь станкового немецкого пулемета способен был в течение считанных секунд разнести человека в клочья. При блокировании окруженного ДОТа амбразуры заваливали мешками с песком или прикрывали броней танков, а не солдатскими грудями, вовсе не являвшимися пуленепробиваемыми.

подхвачен на всех фронтах, повторившие его подвиг росли, как грибы после дождя. Даже в нашем "Ишачином полку" появился собственный Матросов — рядовой Николай Тувакин (между прочим, бывший придурок нашей саперной роты, списанный за ненадобностью в стрелки). Дивизионная газета сообщила, что рядовой Тувакин, повторив подвиг Александра Матросова, с возгласом: "За родину, за Сталина!" бросился под немецкий танк. Однако после боя солдаты из его же роты рассказали, что беднягу Тувакина просто случайно задавило из-за его неловкости — все чесанули, а он, мудака, как всегда зачухался. Однако байки-байками, а дело — делом, и геройски погибший рядовой Николай Тувакин был навечно зачислен в списки подразделения. Но Николай Тувакин все-таки погиб за родину, чего нельзя сказать о целой плеяде других героев, ныне здравствующих и процветающих благодаря инициативе всевозможных придурков, орудующих как на военном, так и на трудовом поприще. И не дай Бог вам проводить тут какие-нибудь контрольные проверки — ну, например, сколько, на самом деле, героев-панфиловцев полегло на Волоколамском шоссе. По утверждению тогдашнего корреспондента "Красной Звезды" Александра Кривицкого, их полегло ровно 28, но, по недоразумению, они один за другим стали в добром здравии возвращаться из мира иного, подрывая легенду газеты "Красная Звезда".

Но военное время просто бледнеет по сравнению с нашими днями по числу создаваемых придурочных легенд. Я бы сказал, что, подобно гомеровской "Одиссее", это целый придурочный эпос, со своими Циклопами и Пенелопами. Я уверен, что каждый второй из моих читателей либо в свое время жил, либо и по сей день еще продолжает жить и трудиться только по-коммунистически, следуя патриотическому почину бригады Владимира Станилевича из Депо Москва-Сортировочная*

* Пример Станилевича показывает, что для того чтобы покрыть себя славой, не обязательно закрывать грудью амбразуру, а достаточно попасть в поле зрения газеты "Известия". Я бы не хотел сравнивать тогдашнего редактора "Известий" Алексея Ивановича Аджубея с каким-нибудь придурком Мироненко, но говорят, что именно ему первому пришла в голову гениальная идея разжечь из ленинского бревна пламя коммунистического соревнования.

(по иронии судьбы Депо Москва-Сортировочная расположено рядом с шоссе Энтузиастов). Когда-то, если верить картине Народного художника СССР Серова, именно в этом историческом месте Владимир Ильич поднимал свое историческое бревно. Спустя пятьдесят лет подвиг Владимира Ильича, по предложению слесаря Станилевича, был повторен во всесоюзном масштабе.

Я бы мог назвать еще несметное число героев придурочного эпоса. Как справедливо подчеркивает газета "Труд" — имя им легион. Они являются достойным объектом изучения марксистско-ленинской науки.

Попробуйте в качестве эксперимента выбросить из нашей легендарной истории такие имена, как Стаханов, Кривонос, Мамай, Папанин, Буденный, Водопьянов, Гаганова. Попробуйте выбросить историческое ленинское бревно — что же тогда останется от нашего славного придурочного коммунизма?

(Продолжение в следующем номере)

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН

"РЕПЕТИЦИЯ В ПЯТНИЦУ" **повесть и рассказы**

Первая зарубежная книжка известного советского писателя, одного из лидеров нового литературного поколения 60-х годов Анатолия Гладилина, живущего ныне в Париже. Сюда вошли лучшие сатирические произведения писателя, отвергнутые цензурой в СССР. Основа сборника — повесть "Репетиция в пятницу", острый сюжет и гротескные преувеличения которой естественно возникают из политической фантазмагии советской действительности.

Издательство "Третья волна", Париж, 1978.
Цена — 30 фр. франков.

Заказы посылать по адресу:
A. Gleser, Chateau du Moulin de Senlis 91230. Montgeron,
France.



ФЕЕРИЧЕСКИЙ МИР ИРЫ РАЙХВАРГЕР

В суете буден, во власти скучных эмпирий мы давно уже не замечаем, сколь странен и феерически фантастичен окружающий мир. Наш разум ленив и не наблюдателен. И разве лишь истинный талант, истинный художник способен проникать в невидимые таинства бытия, преобразуя его в нечто совершенно причудливое, уводящее нас от реальной жизни.

Кто-то сказал, что мера фантазии художника и есть мера его таланта. Так вот о фантазии Иры Райхваргер и думаешь прежде всего, когда попадаешь в ее странный и неожиданный мир.

Я провел маленький "социологический" опрос среди тех, кто побывал на ее выставке в старом Яффо. На мой тривиальный вопрос: "Что более всего поразило Вас в работах художницы?", — почти ни от кого не последовал обычный в подобных случаях ответ: что де "скульптуры Иры Райхваргер необыкновенно похожи на живых людей". Словно этот сакраментальный и старый, как мир, вопрос вообще не занимал зрителей, а ваятельница вводила их в сферу совершенно иных мыслей и эмоций, которые вот так просто и не выразишь.

"Эти маленькие и чувственные женщины, — писала в "Маариве" израильский критик Рахель Энгель, — вовсе не наши современни-

цы, для них больше подходит эпоха Марии Антуанетты. Есть в них что-то вычурное, кокетливое, какая-то подчеркнутая игривость, на некоторых что-то мягкое, шелковое, не то белье, не то части белья, живо напоминающие женские будuary тех лет..." Все верно, да вот только, отчего же все они пришельцы из времен Марии Антуанетты? Отчего не наши современницы, которых мы вполне можем встретить где-нибудь на Дизенгоф, на Елисейских Полях или на Монмартре? Вглядитесь в "Святое семейство", представленное на журнальной обложке. Откуда они, из века Антуанетты? Или, может быть, из свадебного зала "Шушаним" в Тель-Авиве? Сколько их порхает по миру, этих пленящих наши сердца Лаур и Беатрис? Правда, у них совсем не "пушкинские ножки", сводившие с ума их поклонников на Петербургских дворянских балах и не осиные талии и не вполне классические грации. Но, с другой стороны, за 20 веков нашей истории мы всего этого навидались — и "пушкинских ножек" и "классических граций", а вот таких, какие ваяет Ира Райхваргер, кажется, видим впервые.

И остается нам присоединиться к упомянутой уже Рахель Энгель. "Не приходится сомневаться, — пишет она, — что перед нами не только талантливый скульптор, обладающий острым чувством пластичности и пространства, но и мастер тонкой и точной выразительности самых разнообразных и тонких нюансов".

Где же научилась Ира Райхваргер своему искусству? Искусству нельзя научиться. Оно, как талант, от Бога. Его можно лишь развить, можно подняться до уровня совершенства, стать мастером в высшем, Булгаковском что ли, смысле слова. В этом случае говорят о творческом пути художника. Возможно, Ира Райхваргер только в начале пути. Впрочем, любые масштабы тут условны — куда важнее, что путь-то у нее свой, и тот, кто скажет, что ее заплывшие жиром "сексуальные дамы" совсем не эстетичны, возможно, лишь воздаст должное ее дарованию. Эстетичны ли великанши Рубенса? Эстетичны ли Гаргантюа и Пантагрюэль? Ира Райхваргер предлагает нам свои мерки красоты, если хотите, свои эстетические критерии.

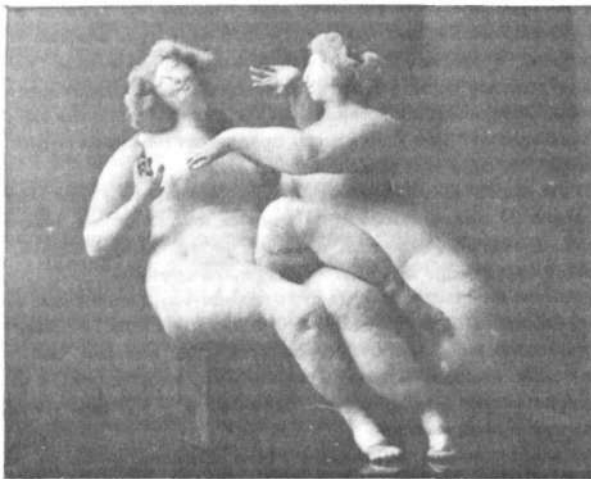
Ну, а уж если о жизненном пути, то он совсем не долг. Ире Райхваргер всего 27 лет, в России она училась в мастерской знаменитого Вейсберга. В Израиль приехала пять лет назад. Там, в Союзе, начала набивать ватные куклы и тут же их раздавала друзьям.

В какой же момент хобби стало превращаться в настоящее искусство? Я не уверен, что на этот вопрос ответит сама Ира Райхваргер, ибо счастливых озарений в работе художника куда меньше, чем об этом думаем мы, не видящие ни процесса, ни мук, ни отчаяния, а видящие лишь результат: на выставке Иры Райхваргер — кукольную галерею, вылепленную рукой мастера.

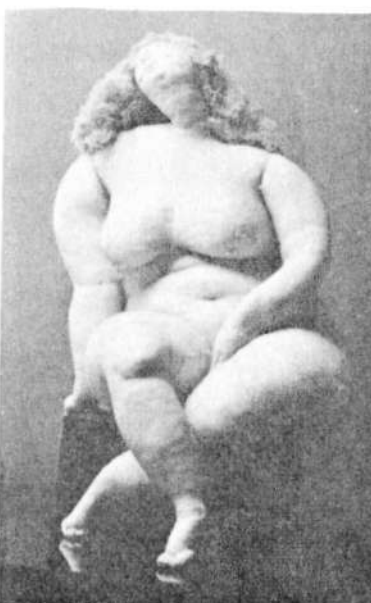
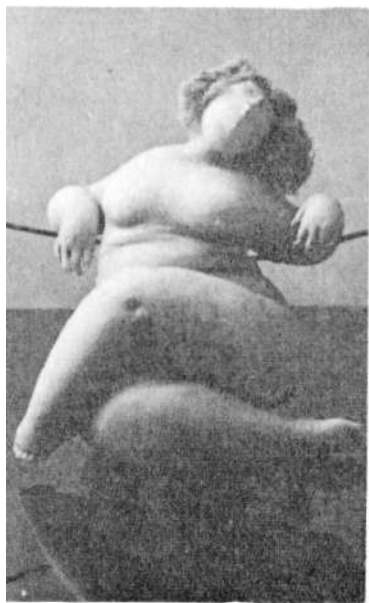
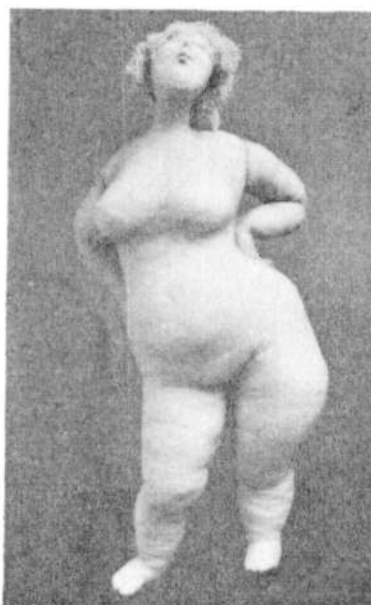
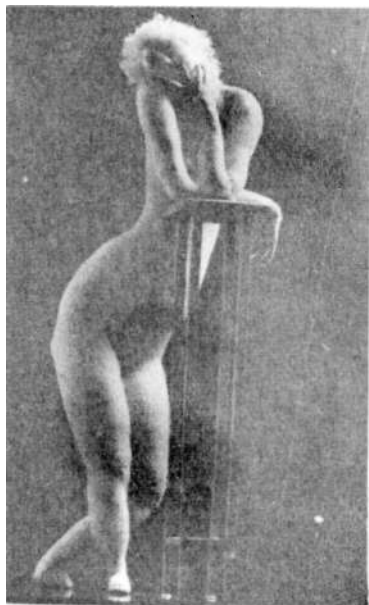
...Игриво и зовуще подведены губы, сделана укладка, наведен марафет — столько чувственности, столько скрытого темперамента, что я бы лично не рискнул ни одну из них оставить в одиночестве где-

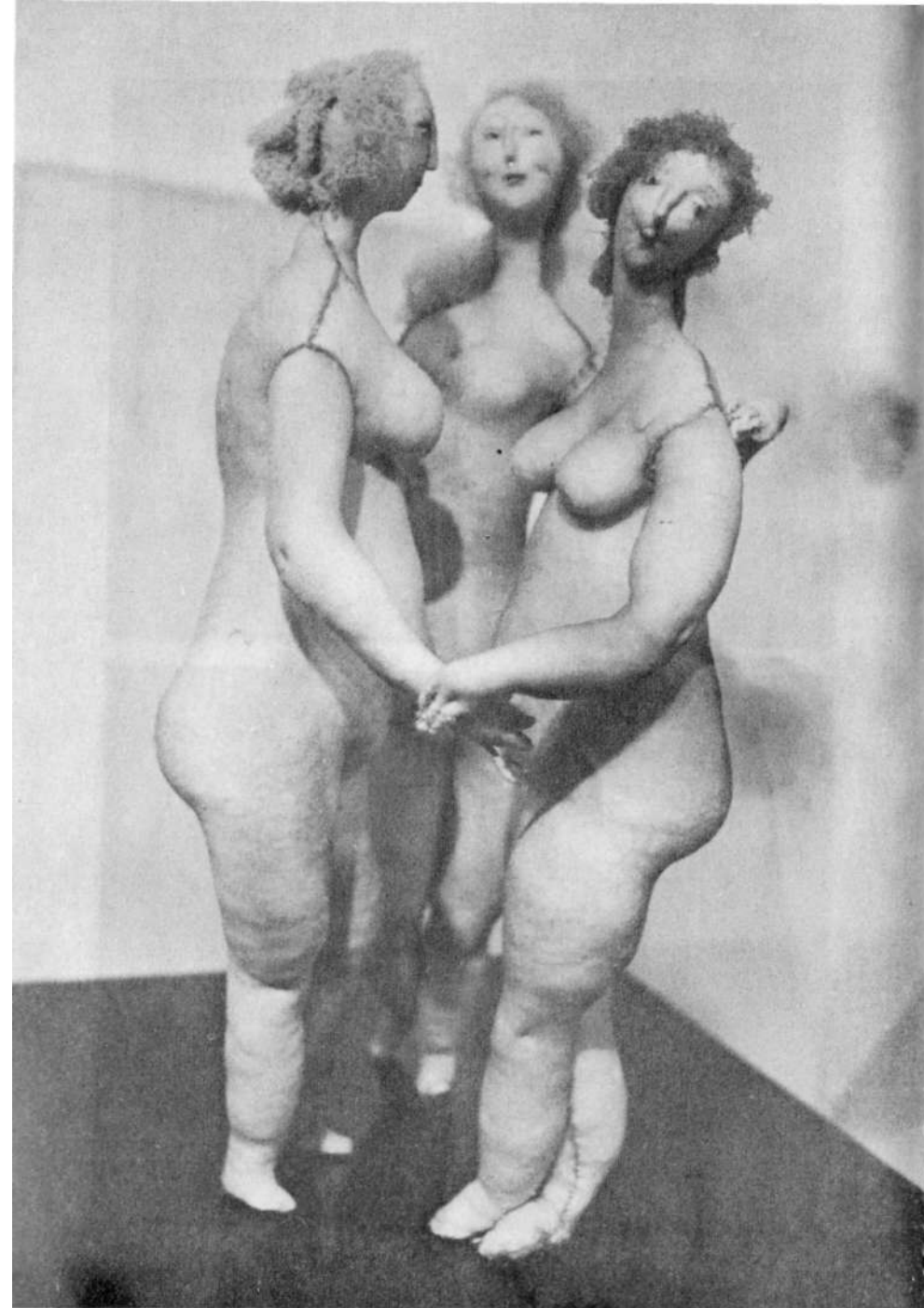
нибудь на Плац Пигале. Впрочем, притормозим бег фантазии и сообщим читателю, может быть, главное: все эти лукавые, обворожительные, способные кого-то свести с ума, а кого-то повергнуть в хохот толстушки, сделаны из нейлоновых чулок — ни мрамор, ни холст, ни дерево, а обычный капрон, — вот он, материал для скульптора! Еще одно свидетельство неисчерпаемых возможностей окружающей нас материальной природы. Вата на невидимых проволочных скелетах. Скелет обтянут капроновыми чулками... — как мало надо, чтобы творить настоящее искусство! Впрочем, надо кое-что еще, кое-что от Бога, что есть у Иры Райхваргер, работы которой я с удовольствием представляю читателю.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН









"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 6 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

• информация • информация • информация •

В Парижском издательстве "Альбин Мишель" вышел в свет Альманах "Время и мы" на французском языке. В альманахе вошли следующие произведения: Борис Ямпольский "Большая эпоха", Майя Каганская "Эссе о времени", Борис Хазанов "Страх", "Частная и общественная жизнь начальника станции", "Новая Россия", Лев Меламид "Сладкая жизнь Никиты Хрюща", Ицхак Мерас "Полчаса в незнакомом доме", Виктор Некрасов "Персональное дело коммуниста Юфы", Виктор Перельман "Гайд-Парк при социализме", Наталия Рубинштейн "Русская литература в Израиле", Соломон Шульман "Врун".

В состав редколлегии журнала "Время и мы" вошел Лев Ларский, главный художник журнала и автор публикуемых в настоящее время на страницах журнала "Мемуаров ротного придурка".

Представитель журнала "Время и мы" в Соединенных Штатах Америки и сотрудник газеты "Новое Русское Слово" Эдуард Штейн принят в члены высшей группы "А" Международной Федерации журналистов, пишущих о шахматах. Ежегодно журналисты — члены этой группы — присуждают "Шахматного Оскара" лучшему гроссмейстеру мира.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Лев НАВРОЗОВ. Как и многие другие в современной России, Лев Наврозов жил подпольно примерно с 14 лет, то есть с 1942 года. Он был подпольным писателем.

Для того, чтобы существовать и не быть сосланным в качестве тунеядца, он "внештатно переводил" на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Фазиля Искандера, Андрея Битова. Наврозов черпает своеобразную гордость в том, что он никогда не числился ни на одной службе в мире, не имел никакого научного звания и не состоял членом ни одной организации, даже профсоюза, ни в России, ни вне ее. После первой и последней попытки напечатать свою книгу "Стаканчики граненые" в московском издательстве в короткий просвет "Пражской весны" 1968 года, Наврозов стал писать по-английски, и, приехав в Соединенные Штаты в 1972 году, он издал свою первую из семи книг, имеющих общее название "Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией".

Наврозов полагает, что, к счастью для него, он не только пишет, но и говорит, рассказывает, играет. Он читает отрывки из своей книги, выступает регулярно по нью-йоркскому радио, импровизируя на месте, играет все роли американцев в своей пьесе "Добро пожаловать в нашу советскую Америку!" "Может быть, — говорит он, — в наш век быть рапсодом для писателя снова необходимо".

Нафтали ПРАТ (Анатолий Парташников). Историк философии и социально-политических учений. Родился в Киеве в 1935 году. Учился в Киевском медицинском институте, который не окончил из-за ареста. С 1956 по 1960 год пребывал в Потьминских лагерях за "антисоветскую деятельность". После освобождения жил в Киеве, работал санитаром на станции скорой помощи. В 1968 году окончил философский факультет Киевского Университета. Работал переводчиком научной литературы с английского языка на русский. В 1971 году репатриировался в Израиль. Подготовил диссертацию на соискание степени доктора философии в докторантуре Иерусалимского университета. Специализируется в области русской философии XIX — начала XX века. Опубликовал несколько работ, посвященных анализу советской философии, в разных периодических изданиях за границей.

Лия ВЛАДИМИРОВА (Юлия Дубровкина) родилась в 1938 году в Москве. В 1961 году окончила сценарный факультет Всесоюзного Кинематографического института; писала сценарии для кино и телевидения. В СССР опубликовала несколько стихотворений. Выехала в Израиль в 1973 году. Выступает с поэтическими произведениями в "Континенте", "Сионе", "Меноре", "Новом Русском Слове", "Гранях", в журнале "Время и мы".

Лев ЛАРСКИЙ. См. журнал № 29.

Петр ВАЙЛЬ. Журналист. Родился в 1949 году в Риге. Окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Работал корреспондентом в Латвийской республиканской газете "Советская молодежь". Публиковался в местной и центральной прессе. Уволен в 1977 году за "идеологическое несоответствие". В сентябре 1977 г. эмигрировал в США. В настоящее время живет в Нью-Йорке, работает литсотрудником в газете "Новое русское слово". Был редактором и автором вышедшего в Риге самиздатского альманаха "Еврейская мысль".

Александр ГЕНИС. Филолог. Родился в 1953 году в Рязани. Окончил филологический факультет Латвийского Государственного Университета. Работал редактором в рижской газете "Ригас Вильни". В июле 1977 года эмигрировал в США. В настоящее время живет в Нью-Йорке, работает метранпажем в типографии газеты "Новое русское слово". Был редактором и автором вышедшего в Риге самиздатского альманаха "Еврейская мысль".

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

*Сроком на 6 месяцев — 270 лир
на 12 месяцев — 492 лиры
(включая налог на дополнительную стоимость
и почтовые расходы)*

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

*В США И КАНАДЕ
сроком на 6 месяцев — \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)
на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)
Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5*

*ВО ФРАНЦИИ
сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)
на 12 месяцев — 184 (авиапочта - 310)
Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23*

*В ГЕРМАНИИ
сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)
на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)
Цена номера в открытой продаже — DM — 11*

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 год

**Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу.....

Приложен чек.....

Подпись Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel-Aviv или **62/9 IMachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**
Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу.....

Приложен чек.....

Подпись Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123,**

Tel-Aviv, Israel или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

КО ВСЕМ ПОДПИСЧИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Редакция и Правление Фонда журнала "Время и Мы" обращается ко всем подписчикам и читателям в Израиле и за границей, ко всем библиотекам и университетам с просьбой внести посильный вклад в Фонд друзей журнала.

Журнал "Время и Мы" является независимым и не-субсидируемым изданием. Свою задачу редакция видит в том, чтобы способствовать развитию русской литературы за пределами Советского Союза, публиковать на своих страницах лучшие произведения русскоязычных писателей, живущих в Израиле, странах Запада и в России. Средства Фонда будут способствовать дальнейшему развитию журнала, они помогут редакции постоянно выплачивать гонорар авторам, установить связи с русским и еврейским Самиздатом России.

Взносы просим направлять по адресу редакции: ул. Нахмани 62, Тель-Авив. "TIME AND WE".

Или на банковский счет журнала:

Israel Discont Bank L.T.D., branch Akirja account 140317.

Редакция приносит глубокую благодарность израильским подписчикам журнала, откликнувшимся на просьбу редакции: **И.Биленкину и Э.Москович.**



Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/Э
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.

62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки скульптура Иры Раихваргер.

